



Николай Пернай

**ЗА ЧЕРНЫМ
ОКНОМ – МОРЕ
ТЮЛЬПАНОВ**

Николай Пернай

**За черным окном
– море тюльпанов**

«Алисторус»

2019

УДК 82-84
ББК 84.3

Пернай Н. В.

За черным окном – море тюльпанов / Н. В. Пернай —
«Алисторус», 2019

ISBN 978-5-907149-64-9

В книге рассказывается о событиях, полных драматических и забавных происшествий, приключений и нелёгких преодолений в жизни Павла Крестного: мальчишки – пастушка; юноши – разнорабочего, кочегара, каменщика, студента; зрелого мужа – педагога и руководителя. Когда ты совсем молодой, легко верится в бесконечность Вселенной, в бессмертие души и в собственные безграничные возможности. Если любишь – всё получится! – искренне считает автор Николай Пернай.

УДК 82-84
ББК 84.3

ISBN 978-5-907149-64-9

© Пернай Н. В., 2019
© Алисторус, 2019

Содержание

Квашеный арбуз	6
Выживает тот, кто настроился выжить	12
Письмо с фронта	21
Деревянные человечки	25
Флорика	30
Ворона	36
Тато	40
Школа	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Николай Васильевич Пернай

За черным окном – море тюльпанов

© Пернай Н.В., 2019

© ООО «Издательство Родина», 2019

Квашеный арбуз (Бессарабия, 1944)

21 марта 1944 года войска Второго Украинского фронта форсировали реку Днестр на участке протяженностью 175 км и окружили город Бельцы... На рассвете 26 марта части 252-й дивизии с северо-запада, 303-й с севера, 373-й дивизии и 57-й мотострелковой бригады с северо-востока ворвались на окраины Бельц...
<http://www.balti.md/index2>

В последние дни марта, когда шли бои за освобождение города от оккупантов – румын, итальянцев и немцев, – артиллерийские обстрелы и бомбежки не прекращались.

Мы с матерью, как и многие жители нашей магалы Берестечко, жили в небольшом саманном домике. Бомбы не падали на нас – кому мы были нужны? – но мы страшно боялись. Война научила бояться всего.

Артиллерия Красной Армии была днем и ночью, орудийный гул с каждым днем приближался, нарастал и, наконец, стал таким мощным, что земля постоянно вздрагивала, колыхались стены нашего домика и с потолка начинало что-то сыпаться.

Особенно страшно было во время бомбежек. Когда приближалась армада советских бомбардировщиков, в небе стоял такой рев, что ничего, кроме него, не было слышно. Сотни самолетов летели так низко, что, казалось, они вот-вот начнут сбрасывать свой груз на наши головы. Грозные машины несколько раз бомбили что-то в районе станции Реуцел, северного и западного вокзалов города, не так уж далеко от нас, но чаще бомбы сбрасывались где-то дальше. Говорили – под Яссами.

Во время бомбежек мама падала на колени и торопливо молилась:

– Господи, Боже наш, не дай нам погибнуть! Господи, спаси и помилуй нас!

А я сразу залезал под кровать. Там в пыли, на земляном полу, было трудно дышать, но было как-то надежнее: разрывы бомб и снарядов мне по малолетству казались не такими страшными.

Так продолжалось несколько дней. Наконец, бомбежки прекратились, но залпы артиллерии и стрельба еще слышались в северной и центральной частях города.

И вот наступил день, когда не стало слышно ни разрывов бомб, ни выстрелов. Наступила тишина. Это было так необычно, что люди начали выходить из своих жилищ и громкими головами переговариваться между собой.

– Неужели ремуны ушли из города? – спрашивала мою мать соседка, старая бабка Флячиха.

– Не знаю, – отвечала мать. Откуда она могла что-то знать: радио у нас не было, а последние дни она никуда не выходила из дома и ни с кем не общалась.

Так в тишине и спокойствии прошел день. Люди повеселели, на улице появились дети. Я тоже вышел погулять.

На следующий день мы проснулись в хорошем настроении. Мама сходила к колодцу и принесла два ведра воды, покормила поросенка, потом наложила в миску дробленой кукурузы и вышла во двор. Она приоткрыла дверцу небольшого сарайчика, который прилегал к дому, и громко позвала:

– Цип, цип, цип!

Тут же из сарайчика стали выбегать и вылетать, обгоняя друг дружку, курочки. Их было с десяток – наше богатство, которое мы старались прятать, особенно от жадных румынских глаз.

– Ципоньки мои милые! – приговаривала мама, рассыпая своим любимцам дробленку.

Первое дело в хозяйстве, даже таком маленьком, как наше, – было накормить и напоить животных. Иначе они покоя не дадут: некормленный поросенок будет орать так, будто его собираются резать, а куры – бросаться друг на друга.

Потом мама разожгла огонь в печке, быстро сварила в чугушке мамалыгу, несколько яиц – курочки неслись хорошо, – достала ведро с топленным салом, запасенным прошлой осенью, положила на сковородку две большие с верхом ложки смальца, разогрела его на плите, затем отрезала два кусочка овечьей брынзы – и выставила все это богатство на стол.

Наша трапеза началась. Мама разрезала мамалыгу суровой ниткой на тонкие ломти, мы брали горячие ломти и макали в топленный смалец, затем, не спеша, поедали их вместе с брынзой и яйцами. Еда была неслыханно роскошной, такое мы редко себе позволяли. В то время ничего вкуснее я не ел.

Раздался осторожный стук в дверь – пришла соседка, тетя Маруся, Мусина мама.

– Сидай с нами, Маруся! – пригласила мама соседку.

Тетя Маруся, как порядочная дама, начала было отнекиваться, но совсем отказаться от угощения было, наверное, трудновато. Она села с нами за стол и, попробовав нашей еды, первым делом стала хвалить хозяйку:

– Ну, Дуся, ни одна баба в нашей магале не умеет варить такую мамалыгу. Ох, и мамалычка! Прямо тает во рту.

Потом женщины стали говорить о своих делах, которые мне были не очень интересны, а я продолжал наслаждаться едой.

А когда все на столе было съедено и запито колодезной водой, тетя Маруся вдруг и говорит:

– Слышала я, что сегодня в городе будет парад.

Городом у нас называли его центральную часть, а мы считали себя как бы пригородом.

– Что за парад? – насторожилась мама.

– В город войдут советские.

Всех русских в то время бессарабцы звали «советскими».

– Пусть входят, мне какое дело?

– Дуся, как ты не понимаешь. Это же конец оккупации. Это победа. Наши победили, понимаешь?

Мама молчала. Про «советских» мы знали очень мало. Меньше года мы прожили при советской власти, так и не поняв, хорошая она или плохая. А потом началась война, мужей позабрали в Красную Армию. В Бессарабию снова вернулись румыны, и пришли они не одни, а с немецкими и итальянскими солдатами. А вместе с ними появились и бывшие хозяева земли, домов, заводов. Объявился даже владелец нашего домика и потребовал с мамы плату за проживание. Мама – в слезы: денег нет. Помог свекор, дедушка Николай, – с горем пополам рассчитались с румыном.

Сила была в руках оккупантов.

Румынские солдаты часто иньряли по нашим улицам. Завидев их, горожане тихо матерились и говорили: «Опять идут румыны с палками». И прятались, кто как мог.

Теперь пришли «советские», но как они себя поведут, было неизвестно.

– Евдокия, – убежденно говорила тетя Маруся. – Советские – они же наши. Свои.

– Да, – проговорила мама, задумавшись. – Где-то наши мужья? Что с ними? От моего Васи никаких известий. Живой ли? Только во сне и вижу его.

– А ты верь, что он живой-здоровый, и раз пришли советские, то скоро придут и письма от наших солдатиков.

– Ты правда так думаешь?

– Конечно.

В сенях послышался шум, дверь отворилась, и в дом, наклонив из-за высокого роста голову под притолокой, вошел дедушка Николай, а за ним тихонько прошмыгнула тетя Сеня, его дочь. Они жили на соседней улице.

– Вы что расселись? – с порога зашумел дедушка. – Наши пришли! Наши! Русские вот-вот войдут в город. Добрые люди давно уже в центре.

Сам дедушка Николай, воевавший как солдат русской армии с японцами на Дальнем Востоке еще в 1905 году, всегда был за Россию.

Без всяких предисловий дедушка велел нам с мамой собираться.

– Пойдем, встретим наших, – понуждал он. И было видно, что для него это событие очень важное.

Через некоторое время мы всей семьей вышли на улицу.

Был теплый солнечный день. В садах начали проклевываться бутончики яблонь и слив.

Мы шли налегке, и только у дедушки на плече висела холщовая торба, в которой было что-то увесистое.

Со всех сторон по одному, по двое или группами в ту же сторону, что и мы, шли люди.

Как мы ни спешили, к началу «парада» всё же опоздали. Головные части уже прошли, оставив после себя сизый туман солярочного дыма.

Наконец, пробиваясь сквозь густеющую толпу, мы добрались до места, которое считалось центром. По обе стороны от площади и центральной улицы лежали развалины, и лишь один одноэтажный дом уцелел, в нем находился продуктовый магазин. Здесь мы остановились. Из репродукторов доносилась громкая музыка, но брусчатая мостовая была пустынна.

Несколько минут спустя послышалось урчание двигателей, и из-за дальнего поворота показался танк. Потом – другой, третий... По мере приближения урчание превратилось в сплошной рев, который вместе с ужасающим лязгом гусениц заглушал все остальные звуки. Я никогда не видел танки вблизи. Теперь, когда они были совсем рядом, казалось, что громадные зеленые чудовища передвигаются по мостовой сами по себе, как одушевленные существа. В передних люках виднелись бледные лица танкистов в шлемах, которые казались неживыми, а из башен выглядывали по пояс стоящие командиры. Как им удавалось управляться с этими страшилищами, было непонятно.

Танков было штук двадцать. Потом пошли самоходные артиллерийские установки такого же устрашающего вида, с неправдоподобно толстыми стволами пушек. Вся эта лязгающая и ревушая техника, оставившая после себя облака смрадного дыма, вызвала благоговейный трепет с некоторой примесью ужаса.

Так проходил парад. Скорее, это был не парад с атрибутами праздничных приветствий и шествий под оркестр, а победное прохождение войск по улицам освобожденного города. Некое подобие триумфального марша.

Люди стояли по обеим сторонам улицы. Они молчали, отчужденно рассматривая проходящую технику с белыми цифрами на бортах. Было непривычно и страшновато.

Но вот снова послышалось несколько бравурных аккордов. На этот раз звуки исходили не из репродукторов. Толпу попросили расступиться, и в образовавшемся круге появился оркестр. Такие оркестры и раньше я не раз видел на молдавских свадьбах и храмовых празд-

никах: скрипач, худой седовласый старик с почерневшей от ветхости миниатюрной скрипкой, невысокий лысый дядечка с висевшим на шейном ремне струнным инструментом под названием цимбалы, старый усатый весельчак с сияющей на солнце трубой, толстяк-барабанщик с колотушкой в руке и огромным барабаном наперевес и потрясающей красоты женщина с ниспадающим водопадом черных кудрей, осторожно несущая на груди роскошное перламутровое чудо – аккордеон. Все, кроме аккордеонистки, были людьми довольно преклонного возраста.

Трубач с толстыми усами, увидев в толпе моего высокого дедушку, вдруг подошел к нам и, радостно протягивая свою черную крестьянскую ладонь, церемонно поздоровался:

– Буна зиуа, мош Николай! – Потом так же торжественно он отвесил поясной поклон женщинам: – С праздником!

– Здравствуй, мош Ион! – отвечивал дедушка так же церемонно, растянув в мягкой улыбке щеточку своих усов. – Доброго тебе здоровья, старый мой друг!

– Когда-то мы вместе играли на свадьбах, – пояснил мой дедушка. Позже я узнал, что в молодости он неплохо играл на скрипке.

Музыканты встали полукругом, скрипач взмахнул смычком, и над толпой полилась незнакомая величавая мелодия. По мере исполнения лица оркестрантов становились всё более сосредоточенными и просветленными, а музыка звучала торжественно и строго. Окончив игру, скрипач сказал, что сегодня впервые на земле освобожденной Бессарабии исполнялся государственный гимн Советского Союза. Зрители вежливо захлопали.

И вдруг без всякого перехода музыканты заиграли танец, который в наших местах знают все, даже малые дети. Это был зажигательный, огненный танец «Жок», от которого руки-ноги начинают двигаться сами по себе и сердце подпрыгивает в груди. Через пару мгновений на брусчатку вылетела дюжина танцоров в национальных молдавских костюмах: все – девушки, но половина была в юбках, украшенных цветными лентами, а другая половина, изображавшая юношей, – в широких шароварах и с заломленными кучмами на головах. Взявшись за руки, плясуньи образовали круг и закружились так лихо, так ладно, так радостно и задорно, что многие зрители стали подтанцовывать.

Сколько дней, недель и месяцев эти люди жили в полудреме, спрятавшись в своих норах! И вот теперь такой подарок – эта светлая, такая любимая и родная мелодия, от которой отлетали прочь дурные мысли, оживали души, и весеннее солнце зайчиком заиграло в сотнях глаз.

Милая моя родина! Как ласковы лучи солнца твоего! Как прекрасны песни и пляски твои! Как нежны и желанны девы твои!

И когда только девушки успели подготовить такой танец! Впрочем, у молдаванок музыка в крови, и танцу многие выучиваются с малых лет.

Артистам хлопали, обнимали их. У многих на глазах были слезы. Это были слезы неожиданной светлой радости.

Были и другие выступления. Пышная черноволосая красавица запела веселым дискантом:

*Марица, Марица, тынере фетица!
(Марица, Марица, юная девица!)*

Лица людей засветились улыбками.

Потом дородный дядька с висячими усами басом затянул:

*Дывлюсь я на нэбо, та й думку гадаю,
Чому я нэ сокил, чому нэ литаю?*

Короткий концерт закончился, артисты пошли дальше и через несколько минут уже выступали перед другой группой людей. А мы стали ждать продолжения шествия Красной Армии.

И дождались.

Вдали появилась пара грузовиков, «студебекеров», за ней другая, третья, четвертая... Целая колонна. Когда машины поравнялись с нами, выяснилось, что к каждой прицеплена пушка; значит, это были артиллерийские части. Солдаты-артиллеристы, сидевшие в кузовах машин, весело махали нам руками. Из толпы бросали солдатам яблоки, груши, орехи; какой-то мужчина подбежал к машине и протянул литровую бутылку с красным вином, которая тут же с благодарностью была принята.

– Да здравствует Красная Армия! Трэяскэ Армата Рошие! Ура! – гремело из репродуктора на русском и молдавском языках.

– Ура-а! – кричали артиллеристы.

– Ура-а! – подхватила толпа. Мы с дедушкой тоже кричали «Ура!». Наши женщины улыбались.

Потом пошла артиллерия на конной тяге. Это было еще интереснее: шестерки здоровенных битюгов тащили орудия большого калибра. Управляли лошадьми пожилые солдаты, сидя на высоком облучке. За пушками в пешем строю шли расчеты.

– Да здравствует Советская Молдавия! Трэяскэ Молдова Советикэ! Ура! – загремело опять радио.

– Ура-а! – кричали теперь все: и красноармейцы-пушкари, и мы, жители Молдавии, которой предстояло стать советской.

Были еще здравицы в честь дружбы молдавского и русского народов, в честь победы над фашистской Германией и боярской Румынией, в честь Сталина. Теперь, научившись, все дружно кричали «Ура!». Но вдруг откуда-то сверху, не иначе как с неба, начали сыпаться грецкие орехи. Они обильно падали и на горожан, и на красноармейцев, и на мостовую. Было очень забавно, когда мы, малышня (а детей на параде было много), бросились подбирать орехи. Солдаты смеялись: они шли, не останавливаясь.

Кто придумал этот номер с орехами, не знаю, но было здорово. Потом еще несколько раз чудеса с орехопадом повторялись, но загадка этого явления так и осталась для меня неразрешенной.

Наконец, пошла пехота. Именно по тому, как шли солдаты, сутулясь под тяжестью не очень тяжелых винтовок и тощих сидоров за спиной, как скупно улыбались измученными улыбками в ответ на наши приветствия, было видно, как они устали. Сильно устали. Очень сильно. И выглядели они не по-парадному: выцветшие гимнастерки, поверх которых были надеты скатки шинелей, на ногах редко у кого кирзовые сапоги, у большинства ботинки с обмотками. Лица, худые и почерневшие, цвета той земли, к которой они, наверное, прижимались, пробираясь с боями в наш город.

Пехота, главная боевая сила войны, шла нескончаемым потоком: взвод за взводом, рота за ротой, батальон за батальоном...

– Да здравствует Советский Союз! Трэяскэ Униуня Советикэ! – звучали призывы по радио.

– Ура-а! – кричали пехотинцы вместе с нами, бессарабцами, которые отныне тоже являлись частью народа единого Союза.

Красноармейцы продолжали шагать, и вид у них был совсем не триумфальный. Люди с каким-то напряженным вниманием вглядывались в лица воинов, словно надеясь увидеть своих близких. Возможно, многим казалось, что они узнают в них родных: сыновей, братьев, мужей.

Молодые женщины подбегали к солдатам и протягивали им фрукты, домашнее печенье, хлеб, сало, брынзу, бутылки с вином, банки с соленьями и прочей снедью. У кого что было, тем и делились.

Не слышно было песен в строю. Все устали.
Война уморила всех.

Дедушка Николай долго стоял на краю тротуара и тоже внимательно всматривался в лица красноармейцев. Я был рядом и слышал, как он тихо не то говорил, не то спрашивал кого-то:

– Где-то наш Вася? Живой ли?

Вася – сын дедушки. Мой отец.

Потом, заметив, что я смотрю на него, сказал:

– Твой отец такой же солдат. Где он сейчас, кто знает...

В это время подошел взвод пехотинцев, которыми командовал совсем молодой рослый лейтенант. Чернявый, крепкого сложения, он, наверное, чем-то был похож на моего отца. Дедушка быстро снял с плеча торбу и достал из нее что-то завернутое в серую бумагу. Оказалось – это арбуз, небольшой, килограмма на три с немного сморщенной кожурой.

Какие могут быть арбузы в марте месяце? Оказалось, у дедушки – могут быть. Это был квашеный арбуз.

– Сынок, – протянул он арбуз офицеру. – Возьми. Я специально берег это к тому дню, когда придете вы.

– Спасибо, отец! – Лейтенант принял арбуз и крепко обнял дедушку.

Солдаты шли и шли, и их шествие было нескончаемым. А дедушка все стоял и стоял у обочины и все махал проходящим поднятой рукой, и я видел на его усах повисшие капли слез. Шествие Красной Армии продолжалось...

*От Васи, точнее, моего отца Василия Николаевича, долго не было вестей.
Но он был жив.*

Выживает тот, кто настроился выжить (Советская Молдавия, 1945)

Хотелось гулять, но мать не разрешала. Причина была простая: стояли сильные морозы, совсем не характерные для наших мест, а у меня не было ни зимней обуви, ни теплой одежды.

Гулять очень хотелось. В последние дни непрерывно шел снег. Белым пухом укрыло наш двор, шелковицу, соседние крыши, деревья, улицу. Мир за окном изменился, что-то там происходило необычное и, наверное, интересное и веселое. Это было как праздник. Праздник настоящей зимы. Слышались разные голоса, среди них было много детских. А я сидел дома и был отрезан от всех радостей.

Наконец, мать раздобыла где-то пару яловых сапог. Сапоги были старые и окаменевшие от ветхости. Им было, наверное, лет сто, а может, и больше. Возможно, в них хаживал на турок один из моих прадедушек в те времена, когда молдаванами правил славный господарь Штефан чел Маре. Мама долго разминала их, мазала салом, отбивала поленом, чистила сажей. Сапоги были громадные, размеров на пять больше того, что мне было нужно, с загнутыми по-старинному носами, но выбирать не приходилось.

И вот мать начала обряжать меня для выхода на улицу. Из зимней одежды у меня было пальтишко, из которого я вырос еще год назад, да непомерно большая отцовская цигейковая шапка. На меня были надеты двое штанов, поверх рубашки мамин теплый платок, ноги вместо портянок замотали кусками тряпок и запихали в сапоги. А когда мать втиснула меня в пальтишко, неспасающиеся руки стали торчать в стороны, как палки. Вот так я был разодет.

Я напялил на голову шапку и вышел на улицу.

Было пасмурно, немного ветрено и морозно, но мне после прокисшего домашнего тепла поначалу показалось, что мороз небольшой. Снег был глубокий, и в своих востроносых сапожищах, как сказочный Иванушка-дурачок, я с трудом брел по целику, пока не вышел на дорогу, которая была немного наезжена телегами и санями. Воздух был колючий, но чистый, дышалось легко, и мне сразу стало радостно оттого, что я очутился в этом светлом и чистом мире. Хотелось прибавить ходу, попрыгать, помчаться галопом, однако неудобная одежда и непомерная обувь сковывали движение. Но все равно было хорошо.

На улице никого не было, и я побрел наугад, надеясь, что увижу кого-нибудь из сверстников.

Хорошо в такую погоду покататься с горы на санках, а по льду Реуцела – на коньках. У меня не было ни санок, ни коньков, но я надеялся, что на горке встречу с кем-нибудь из ребят и меня прокатят. В конце магалы улица сворачивала к мосту, и там была довольно длинная и крутая горка, на которой копошилось несколько мальчишек с самодельными санками. Никого из них я не знал, поэтому сразу спустился к речке.

Там было веселее: на катке была настоящая куча мала. Несколько ребят постарше были на коньках, они солидно раскатывали по кругу, выписывая различные фигуры. Коньки у всех были, конечно, самодельные, сделанные из сосновых чурбаков с прибитыми снизу стальными прутами для улучшения езды. Среди катающихся были умельцы, которые могли выполнять такие фигуры, как скольжение ласточкой или пистолетом на одном коньке, скольжение задним ходом, и прочий «высший пилотаж».

Были на катке и мои знакомые – братья Морару и Жорка Баранец. Для них, так же как для меня, коньки были недоступной роскошью, но они всю катались на своих ботинках. Катание заключалось в том, что нужно было хорошо разбежаться и, сильнее оттолкнувшись, скользить по льду.

Между пацанами шло соревнование: кто дальше проедет по льду. Те, кто поопытнее, удлиняли путь разбега, начиная с берега. Они докатывались почти до противоположного берега. Я пару раз пытался разбежаться, но мне это удавалось не очень хорошо: я спотыкался, падал, на меня наезжали другие и тоже падали. Были, правда, и удачные попытки: иногда мне тоже удавалось что-то вроде разбега, после чего я несея по льду с огромной, как мне казалось, скоростью. Всё же здесь было, по крайней мере, весело...

Незаметно стемнело. На катке народу стало меньше, а потом и вовсе я оказался один. Я пару раз прокатился и хотел было тоже идти домой, но когда попытался подняться на горку, чтобы выйти на дорогу, ноги заскользили и я упал. Потом поднялся, опять попробовал идти, заскользил и опять упал. Я полежал немного, чтобы отдохнуть, но когда попробовал встать, почему-то опять упал. Полежал еще и с большим трудом встал. Ноги стали замерзать, потом холод стал проникать сквозь пальто, шапку.

Ноги почему-то держали плохо, к тому же я перестал их чувствовать. Теперь я просто стоял и не двигался...

Неизвестно, сколько бы я так простоял, если бы меня не нашла мать. Она схватила меня в охапку и бегом, напрягаясь из последних сил, понесла домой.

Дома она стащила злополучные сапоги, сняла многочисленные одёжки и начала растирать меня денатуратом и нутряным свиным салом – тем, что у нас было. Начали отходить от заморозки ноги и руки, я кричал от острой боли, но не кричал.

– Потерпи, потерпи, – приговаривала мама.

Потом она надела на меня сухую сорочку и штанишки, завернула в старый овечий кожаный и положила на натопленную печь. Какое-то время мне удалось поспать, но к ночи начался сильный жар, все время хотелось пить.

А наутро сильно заболело горло так, что я не мог ничего глотать, и кружилась голова. Жар не спадал. Мама пробовала поить меня кипяченым молоком с медом, который принесла тетя Сеня. Ничего не помогало. Вдобавок начали болеть суставы ног и рук. Так продолжалось весь следующий день и ночь.

На третье утро дедушка Николай запряг в сани своего старого мерина Каштака и поехал в город за фельдшером.

Приехал фельдшер, очень большой и очень толстый старый еврей в белом халате, с мясистым в красных прожилках носом и отвислой нижней челюстью с редкими железными зубами. Помыв руки над тазиком, он попросил у мамы ложку и, прижимая этой ложкой мой язык, стал осматривать горло.

– Гнойное воспаление миндалин. Ангина, – констатировал фельдшер. – Нужно хорошо прополоскать горло растворами марганцовки и календулы.

Потом он запихал в свои волосатые уши резиновые трубочки и блестящий металлический кружок, в котором трубочки сходились вместе (стетоскоп), долго прикладывал к моей цыплячьей груди, время от времени хрипя и дыша на меня вонючим, прокуренным голосом: «Дыши!.. Не дыши!.. Дыши!» Потом обстукал сердце, легкие и, все больше хмурясь, взял меня за руку и долго считал пульс.

– Ну, что? Что скажете, господин фершал? – волнуясь, стал спрашивать дедушка Николай.

– Не господин – товарищ! – поправил дедушку фельдшер. – Пока явных признаков пневмонии не нахожу, но лёгкие мне не нравятся. Есть воспаление. Сердце тоже работает почти с тройной нагрузкой. При ангине это бывает и это опасно. Могут быть осложнения и пороки сердца.

– Что делать? С ребенком что делать?

– Будем лечиться. Я выпишу вам рецепт. Вы должны заказать медикаменты в аптеке, выкупить их и давать мальчику через каждые четыре часа. Каждый порошок нужно запивать кипяченой водой ...

Еще он говорил, как и чем полоскать горло.

Потом старик вынул из своего саквояжа лист бумаги и, примостившись у нашего шаткого стола, стал писать. Исписанный листок он отдал дедушке. Тот, шурясь от напряжения, попробовал было прочитать и, ничего не поняв, спросил:

– Вы тут, что ли, по-румынски написали?

– Нет, все рецепты пишутся на латыни. Не волнуйтесь, в аптеке рецепты читать умеют. Они же объяснят, как употреблять медикаменты ... А теперь мне нужно умыть руки.

Мать услужливо полила на руки фельдшера водой из кружки и подала ему свежий рушник. Он вытер руки, надел поверх халата длинное, такое же ветхое, как он сам, пальто, и, не прощаясь, пошел к выходу. Дедушка ушел с ним.

Мы остались с мамой. Появилась какая-то надежда, и вроде бы даже немного полегчало.

Приходили соседи: добродушная тетка Маруся с Мусей, крикливая бабка Флячиха, очень дряхлый и совсем глухой дедушка Иван. Потом пришла моя бабушка Маня. Каждый пытался меня утешить и каждый что-то с собой приносил: кто топленого молочка, кто – горячего борща, кто – сотового меда, а глухой дедушка передал маме несколько черных, как деготь, маленьких лепешек.

– Это пчелиный клей, – шепелявя беззубым ртом, кричал дедушка Иван. – Лепешки из клея надо привязать на горло.

Муся стала кормить меня наваристым борщом, но я не мог глотать. И тогда моя мама забрала у нее миску и усала подальше, чтоб не заразилась.

На ночь мама снова сделала мне компресс на шею и прилепила лепешки деда Ивана. Полночи я проспал спокойно, но под утро снова поднялась температура и я стал задыхаться. Мама заставила меня полоскать горло сначала марганцовкой, потом настоем календулы. Из глотки пошли сгустки крови и гноя. Но дышать стало легче. Когда полоскание закончили, я совсем обессилел и горло болело так, точно там все было изрезано. Вдобавок сильно тошнило и болела голова. С этого времени и в течение следующих четырех или пяти дней я не мог ничего есть и начал катастрофически худеть.

К вечеру дедушка Николай, наконец, привез большое количество разных порошков. В те времена главное лечение ото всего – были порошки. Дедушка долго объяснял маме, как надо использовать каждый медикамент. И мы тут же приступили к лечению.

Так прошло несколько дней. Горло понемногу унималось, болело не так сильно. Но я весь горел огнем, особенно ночью. Начали болеть колени, потом локти, потом плечи.

Кто-то сказал матери, что от суставных болей полезительны ванны из конского навоза. Мать быстро собралась и побежала к пивзаводу, где всегда было много подвод и лошадей. Через час она притащила полную корзину замёрзших конских катышков, растопила печь, вскипятила большой чугун воды, нашла во дворе старый полубоченок, промыла его и залила горячей водой конские катышки. Таким способом она приготовила баню. Дождавшись, чтобы раствор стал не слишком горячим, и для верности попробовав температуру воды локтем, мать быстро раздела меня и по шею погрузила в полубоченок. Острый конский запах перебивал все другие запахи, но я ощущал невыразимое блаженство и облегчение. Казалось, вот она – панацея, вот так и надо лечиться. Мать потом еще два раза купала меня в вонючей конской купели, у меня очистилось горло, легкие, стало легче дышать. Но какой-то бес сидел внутри меня и не отпускал.

Снова поднялась температура, все суставы воспалились, стали красными; через неделю они распухли, и я не мог уже ни встать, ни сесть, ни тем более ходить. Тошнило, кружилась голова, и я все чаще стал терять сознание.

Через неделю Павлик уже не мог встать с постели. Мама почти не спала, несмотря на то, что ее часто сменяли то тетя Сеня, то баба Маня. Суставы у него распухли и болели так, что он стонал почти не переставая. Но самое тяжкое началось после того, как у него от слабости и отсутствия питания начали атрофироваться мышцы. Это привело к тому, что сухожилия, как тугая резина, стянули ноги и руки больного и он не мог их разогнуть. Теперь стали болеть и конечности, которые состояли из костей, обтянутых кожей. Болело все, и больной все чаще пребывал в бессознательном состоянии. Чтобы хоть немного облегчить страдания, тетя Сеня придумала для него колыбельку с простынкой, на которой положили Павлика (тем более что сам он уменьшился до размеров почти грудного ребенка и лежал все время скрюченный). На простынке его легче было переворачивать. А он поминутно стонал и кричал: «Поверни! Поверни!!» Так было в течение второй недели его болезни.

Потом, когда периоды пребывания больного в бессознательном состоянии стали почти постоянными, все чаще слышалось: «Поверни! Поверни, тебе говорю! Поверни, ё... твою мать!.. Не так, не так больно, манда собачья... Почему ты делаешь мне больно? Круща мэти!..¹ Поверни! Нет, не так! Ах, ты, пся крив!² Ты нарочно бьешь меня по ногам!.. Вот я скоро поднимусь и встану! Вот я встану и покажу вам, жандармы румынские, фашисты!..» И так далее и тому подобное. Весь этот специфический репертуар выливался на голову чаще всего бедной матери, которая тихо плакала и звала его: «Ну, встань, встань, золотой мой!» Она почти не отлучалась теперь от своего сыночка, а он, не приходя в сознание, продолжал поливать ее грубой мужицкой матерщиной.

Взрослые долго потом дивились, где примерный мальчик, «хлопчик с золотой головкой», как звал его отец, мог набраться таких забористых и поганных слов, причем на нескольких языках, включая цыганский и иврит. Взрослые явно недооценивали интернациональный уровень уличных контактов юных сорванцов, которые ежедневно общались на множестве языков и наречий.

Так продолжалось несколько дней. Когда Павлик приходил в сознание, ему торопились засыпать в рот множество порошков и после этого начинали кормить. Больной начал понемногу есть жиденькие супчики и каши. Горло почти перестало болеть, температура спала, но больной продолжал лежать в позиции эмбриона, изнемогая от дергающих суставных болей. Павлик таял на глазах. Казалось, никакое лечение не впрок.

И тогда дедушка Николай снова привез старого фельдишера. Мельком глянув на больного, тот сразу сказал:

– Немедленно в больницу, – и тут же стал выписывать направление на стационарное лечение.

Родня в панике засуетилась. Все захлопотали, засобирались.

Однако появилась надежда.

Вечером, при приеме в городскую больницу, Павлика осмотрел дежурный врач, худощавый мужчина лет сорока с изможденным лицом, и велел положить мальчика в первую палату терапевтического отделения. Больной был признан очень «тяжелым», и матери было разрешено находиться при нем в качестве сиделки.

Утром во время обхода врачи собрались у постели больного. Их было трое. По сути, консилиум. Врачи внимательно осмотрели мальчика. Это были, как потом выяснилось, известные личности, ведущие врачи: доктор Кошелев, осанистый мужчина с черным ежиком, выбивающимся из-под крахмальной белой шапочки, и суровым медальным профилем, и – доктор Юхим, рыхловатый очкарик с одутловатым багровым лицом, небрежно нахлобученным на

¹ Молдавское ругательство.

² Польское ругательство.

лысую голову белым колпаком и халатом, едва укрывающим его толстую фигуру. Третий, доктор Петряк, малозаметный худощавый пожилой мужчина, молча, не вмешиваясь, следил за действиями своих коллег. Потом они втроем о чем-то вполголоса совещались. Их язык был недоступен для окружающих, но мама все же уловила: «ревматизм» – слово, которое звучало чаще других.

Доктор Петряк, который оказался лечащим врачом Павлика, продиктовал медсестре все необходимые назначения. Быстро и оперативно установили капельницы с лекарствами.

Начался новый этап – уколы и капельницы.

В течение нескольких дней Павлика искололи до того, что живого места не осталось.

Доктора каждое утро начинали обход палаты с постели Павлика. Доктор Петряк озабоченно говорил о дефиците синовиальной жидкости в суставах, тахикардии, миокардите и прогрессирующей дистрофии. Доктор Юхим молчал, а доктор Кошелев хмуро кивал своим ежиком.

Положение больного оставалось стабильно тяжелым.

Однажды дедушка Николай напросился на прием к доктору Юхиму, который был завотделением, и спросил: что делать? Что еще можно сделать? «Мы делаем все возможное», – сказал доктор. «Может, нужны какие-то особые лекарства?» – спросил дедушка. «Буду откровенным: нужны пенициллин, бициллин и еще кое-что, то есть то, чего нет, – с горечью констатировал Юхим. – Это дефицит, которого нет и не будет. Сейчас время военное, медикаментов для гражданских больниц поступает крайне недостаточно. Лечим тем, что есть...»

Прошло ещё две недели. Павлик продолжал лежать на больничной койке скрюченный, со стянутыми, как у краба, суставами. Его желудок перестал принимать пищу, и ему через тоненькую вену на кулачке стали вводить глюкозу. Он все чаще терял сознание, но уже не матерился, а тихо стонал. Мама все чаще падала на колени и беспрестанно шептала свою мольбу Богу:

– Великий Боже! Прошу тебя: исцели моего сына!

Однажды вечером я очнулся оттого, что в палате было очень тихо. Это было необычно: палата была огромная, в ней лежало человек двадцать и всегда слышны были какие-то шумы, разговоры, чаще стоны больных. Но сейчас было темно и стояла полная тишина. Только на моей тумбочке, тихо потрескивая, горел неровным синим пламенем каганец – самодельный светильник, состоящий из фитиля, опущенного в плошку с каким-то горючим веществом. Каганец то вспыхивал ярким пламенем, то угасал. Наверное, горючее заканчивалось.

Вдруг я почувствовал, что чья-то рука коснулась моей головы: кто-то пытался погладить меня. Но это была не мама: она сидела рядом на табуретке и вместе со мной молча смотрела на пламя каганца. Я с трудом повернулся и увидел человека, которого видел и раньше, до болезни, но в другом месте, далеко от больницы. Его звали «брат Даниил», и был он пресвитером баптистской церкви, в которую с недавнего времени мы с мамой стали ходить.

– У тебя совсем нет волос на голове, – сказал брат Даниил.

– У Павлика был сильный жар, – объяснила мама. – И все волосы выпали.

Я молчал. Про волосы я и сам не знал, я давно не видел себя в зеркале. А брат Даниил продолжал своими холодными пальцами гладить мою лысую, как тыква, голову.

– Большие страдания ты принял, брат Павел, – произнес он с печалью в голосе. – Не каждому Господь дает такие испытания, да не каждый и выдержать их может... – Священник разговаривал со мной, как с равным. Как со взрослым. Это было ново и удивительно. – Ты много претерпел, брат Павел, несмотря на свои совсем детские года. И, может быть, Господь, глядя на твои муки и долготерпение, проявит милость и даст тебе здоровье и долгие года...

Я молчал, чувствуя, что жизнь во мне теплится еле-еле, как вон тот каганец, и может внезапно кончиться в любое следующее мгновение ...

Брат Даниил и мама встали на колени рядом с моей койкой и начали тихо молиться о моем выздоровлении.

Потом пресвитер поцеловал меня, как принято среди братьев во Христе, и попрощался.

Мы с мамой остались. Она прилегла на краешек моей койки, а я стал смотреть на слабое свечение каганца. Электричество в больнице включали редко и только днем: вероятно, только для неотложных больничных нужд.

После ухода пресвитера я почувствовал некоторое просветление и решил помолиться сам, как учила меня мама. «Господи, – произнес я тихо, чтоб никто не слышал. – Господи, прости и помилуй меня».

Каганец вдруг вспыхнул и после этого совсем погас. Но еще не погас.

Когда он погаснет, подумал я, меня больше не будет. Я тоже погасну и умру...

Я больше не могу. Не могу, и всё...

Не могу...

Через несколько мгновений хлипкое пламя фитилька предсмертно мигнуло, превратилось в точку и наконец совсем погасло. И одновременно с ним прекратилось дыхание и перестало биться сердце Павлика.

Все остановилось. Это было начало конца: наступила клиническая смерть. Павлик умер.

Мать, еще не понимая, что случилось, хотела было возжечь каганец, но притронувшись по привычке к телу сына и поняв, что с ним что-то не так, она вдруг закричала страшным голосом:

– По-мо-ги-те-е-е-е-е-е!

Прибежали дежурные медсестра, врач. По случайному совпадению дежурил как раз многоопытный Петряк. Не раздумывая, доктор начал проводить искусственный массаж сердца и легких Павла. Он, не переставая, работал и работал, периодически надавливая на хилую грудь мальчика своими мощными жилистыми руками и вдывая воздух в его рот. Потом, приняв из рук сестры большой шприц, он сделал укол прямо в сердце Павлика. Пот струями стекал с лица доктора, заливал глаза, а он, не обращая внимания, все качал и качал. «Ну давай, – хрипел он, изнемогая от напряжения, – давай, работай».

Наконец, сердце мальчика затрепыхалось, забилось, и он задышал.

– Давай, дружок, возвращайся, – проговорил доктор Петряк, переводя дух. И, обессилив, рухнул на табуретку.

* * *

Моя клиническая смерть порядком всполошила всю палату и медперсонал.

Я был еще совсем слабым, когда утром снова собрался консилиум. Но на этот раз не именитые врачи обследовали меня, а доктор Петряк. Мой лечащий врач, которого отныне и до конца дней своих я буду почитать как *моего спасителя*, подробно выстукивал и выслушивал мои сердце и легкие, считал пульс. Пробовал разогнуть мои скрюченные руки и ноги, но резкие боли не позволили добиться успеха. Наконец, доктор Петряк встал с моей постели и сказал, обращаясь к коллегам:

– Просматривается значительное увеличение левого желудочка, нагрузка на миокард возросла. Вероятно, поражен митральный клапан. Пульс сильно учащенный.

Он предложил отменить все предыдущие назначения, и сделать мне инъекции какого-то нового – я не запомнил, какого, – препарата для укрепления сердечной мышцы. Кошелев и Юхим согласились.

В течение следующих дней, после ввода новых препаратов, я почувствовал некоторое облегчение. Стал дышать полной грудью, появился аппетит. Мама немного повеселела и сходила домой. К вечеру она принесла в горшочке, завернутом в одеяло, горячий куриный супчик, который я раньше очень любил. Наверное, пожертвовала все-таки одной из своих курочек. Она с улыбкой смотрела, как я ем с ложки. Без ее помощи я не мог даже ложку поднести ко рту.

Однажды на утреннем обходе вместе с лечащим врачом к моей койке подошел еще один человек. На нем внакидку висел белый халат, наброшенный поверх военного мундира. В какой-то момент я разглядел узенькие белые серебряные погоны майора медицинской службы. Майор был коренаст и плотен, его круглое лицо излучало дружелюбие и внимание.

– Это военный врач Марко Петрович, – представил незнакомого человека доктор Петряк, обращаясь не столько ко мне, сколько к маме.

– Ну, здравствуй, герой, – протянул Марко Петрович мне свою пухлую руку, но увидев, что я не могу ответить ему тем же, мягко сжал мое предплечье. Я почему-то сразу понял, что это – рука друга, в которой я так нуждался.

– Марко Петрович – терапевт, – пояснил доктор Петряк. – И он еще специалист-ревматолог. Он служит в военном госпитале в нашем городе и по моей просьбе дал согласие по совместительству поработать в нашей больнице.

– По правде говоря, – шепнул мне на ухо мой спаситель, – это я попросил Марко Петровича специально поработать с тобой, Павлик.

Марко Петрович внимательно посмотрел на меня. Взгляд его из-под кустистых рыжеватых бровей по-прежнему излучал добродушие и какую-то бесшабашную уверенность и силу.

– Теперь осталось главное, – сказал он, – настроиться на выздоровление. Выздоровливают и выживают те, кто хочет выжить... Главное – это настрой. Настрой на жизнь... Ты готов? – вдруг спросил он у меня.

– Да, да! – пропищал я с надеждой. – А вы поможете мне?

– Для этого я и пришел к тебе. – И Марко Петрович грузно сел ко мне на койку и приступил к врачебному обследованию того, что от меня еще оставалось.

Я понял, что в моей жизни, точнее, в том зыбком состоянии между жизнью и нежизнью, в котором я пребывал последних полтора месяца, начинают происходить кардинальные изменения. Наконец-то после всего того, что я пережил, появилось твердое желание – *выжить!* И жить, жить и жить...

Марко Петрович приходил ко мне через день. И каждый раз он приносил с собой небольшие пузырьки, и медсестры делали мне уколы из каких-то новых препаратов. Я не знал их названия, но чувствовал, что они помогают. Откуда что бралось, я не знаю, но похоже, что это был тот самый «дефицит», о котором говорил доктор Юхим.

Через неделю меня вообще колоть перестали – дело явно шло на поправку. Дедушка Николай приезжал каждый день и привозил разнообразную еду, которую успевали приготовить баба Маня и тетя Сеня. Я все подметал теперь с немислимой быстротой: жор был отменный.

Марко Петрович начал учить меня упражнениям для восстановления функций рук и ног. Я кряхтел, обливался потом и делал все, что велел доктор.

Однажды Марко Петрович принес две больших тубы и сказал, что в них – редкий немецкий препарат, который надо принимать для окончательного выздоровления. Препарат по цвету напоминал кизиловое варенье и на вкус был непротивный – кисло-сладкий.

Наконец наступил день выписки из больницы. Дедушка Николай подъехал на санях почти к нашей палате, меня завернули в тулуп – ходить сам я пока не мог – и повезли домой.

Какое счастье возвращаться домой, зная, что ты идешь на поправку! Вдыхаешь в себя тугой свежий воздух, и кажется, что его свежесть проникает не только в твои легкие, бронхи, а во все без исключения клеточки. И ты упиваешься этой свежестью и не можешь насытиться. И окружающий тебя новый мир вдруг приобретает такую полноту и разнообразие красок, что хочется кричать или плакать от переполняющих тебя чувств...

Февральское солнышко чуть-чуть припекало, а почерневший снег еще лежал плотной коркой. На дороге, в колеях, стояла талая вода, хотя ручьев еще не было. Зима еще не ушла, но голубое небо в пушистых барашках и бодрый напористый ветерок уже тянули к весне. И мир деревьев, птиц, животных и людей уже готовился к весенним переменам.

* * *

Дальше все было просто и хорошо. Доктор Марко Петрович изредка приезжал к нам домой и привозил тубы с немецким препаратом. Тетя Сеня сшила мне теплое пальтишко, а соседка тетя Маруся подарила мне теплую стеганую безрукавку. Дедушка своими руками смастерил мне из старой шинели теплые бурки. Мама стала выносить меня на улицу, и я тихо сидел на призьбе (завалинке).

Прошел еще месяц, пока мои руки и ноги стали почти нормальными, и в конце марта я начал заново учиться ходить.

В начале апреля я бегать еще не мог, но, держась за стены, вполне мог передвигаться.

Наступила Пасха. В связи с праздником дедушка Николай заколол кабанчика, и в воскресный день мы разговелись крашеными яйцами, а потом обедались свежениной. После обеда дедушка приехал к нам на двуколке, запряженной все тем же старым Каштаком, и велел мне собираться.

– Поедем к Марку Петровичу, – сказал он. – Поздравим нашего спасителя с праздником.

Я быстро, теперь уже без посторонней помощи оделся. Дедушка подхватил меня и посадил на деревянное сиденье рядом с собой. В ногах лежал белый мешок с чем-то.

– Что там? – спросил я.

– Подарочек для доктора.

– Н-н-но! – дал команду коню дедушка, и мы поехали.

Ни одно путешествие в мире не может сравниться с той поездкой.

Мы ехали сначала в центр города, потом свернули на Пэмынтены.

Мне кажется, я никогда до того не видел столько цветущих деревьев. Улицы и переулки, по которым мы ехали, утопали в садах. Цвели вишни, сливы, абрикосы, которые росли почти в каждой усадьбе. И все окружающее пространство садов было наполнено таким радостным бело-розовым сиянием, что, казалось, все это потрясающее весеннее великолепие готово взлететь в васильковое солнечное небо. И мы вдыхали целебнейший аромат садов и не могли надышаться.

Марко Петрович жил в скромной казенной квартире с женой и дочерью, девочкой лет десяти. Маленький палисадник перед его квартирой тоже был в цвету.

Пока дедушка привязывал поводья к забору, доктор вышел во дворик и, широко шагнув ко мне, вдруг схватил меня и высоко поднял своими сильными руками.

– Ну, здравствуй, дорогой мой пациент! Здравствуй, *воскресший из мертвых*, – сказал человек, благодаря усилиям которого мое воскресение перешло в полное выздоровление. – Для меня большая радость, что ты пришел ко мне и пришел на собственных ногах.

Тут подоспел дедушка Николай с мешком. Они похристосовались с доктором, и дедушка передал ему наш подарок. То был свиной окорок. По тем голодным временам – подарок королевский.

Потом мы пили чай в окружении семейства Марко Петровича и вспоминали больницу, особенно доктора Петрука. Оказывается, его звали просто – Иван Иванович. А я не знал.

Именно в тот день Павел твердо уверовал, что, пока на свете есть доктор Петрук, Марко Петрович и подобные им люди, он никогда не умрет.

Письмо с фронта (Советская Молдавия, 1945)

Май – мой любимый месяц. В Бессарабии, стране моего детства, природа начинает пробуждаться к жизни в марте: вскрываются спящие подо льдом мелкие речки и неожиданно превращаются в бурные и опасные потоки, на лугах и полях появляется щетина зелени, а на деревьях проклевываются почки. В марте начинают цвести и в апреле-мае полностью распускаются деревья сливы, яблони, груши, черешни, вишни, абрикоса, персика, айвы. В мае же кусты персидской сирени начинают фонтанировать нежно-лиловыми кистями и, наконец, каштаны зажигают величественные паникадила своих соцветий. Воздух пропитывается таким сумасшедшим бело-розовым дурманом, от которого кружится голова и появляются нелепые желания.

Никогда природа Бессарабии не бывает так прекрасна и так вызывающе нарядна, как в мае. Никогда кровь в жилах не бурлит так сильно и так настойчиво, будоража сознание и всю сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Зеленая солнечная страна наполняется счастьем и радостным ожиданием...

Май – время наивысшей активности всего живого и возрождения всего самого красивого в нашем мире. Я так думаю.

В один из майских дней мать окучивала картошку в нашем огорошке, а мы с соседкой Мусей осваивали новый снаряд – качели. Они были устроены просто: один конец толстой веревки был привязан к ветке дерева шелковицы, которое росло в нашем дворе, другой – состоял из большой петли, в которую надо было просунуть одну или обе ноги, и – качайся сколько хочешь. Сначала попробовал себя на качелях я – понравилось, потом Муся – ей тоже понравилось, потом мы решили, что веревка толстая, выдержит, и взгромоздились в петлю оба. Но мама, увидев нашу игру, тут же зашумела:

– Диты, вы зломыты дэрэво!

И правда, тяжесть двоих, даже таких тощих, какими были мы с Мусей, дерево, пожалуй, не выдержит.

Вернулись к первоначальному варианту и качались по очереди: то Муся, то я, то Муся, то я. Было хорошо и весело. Только веревка сильно натирала ягодицу.

Время близилось к обеду, когда у калитки раздался требовательный окрик:

– Мадам Крёстная!

Это была тетя Марица, женщина почтенных лет и внушительных объемов. Она была почтальоном в нашей магале. У тети Марицы на необъятном животе висела толстая сумка на широком ремне, которая придавала ей очень солидный вид. Прежде, бывало, она иногда заходила в наш домик, чтобы передохнуть и перекинуться с матерью парой слов. Они были старые знакомые.

– Мадам Крёстная! – снова послышался густой бас почтальонши.

– Что случилось, тетя Марица? – спросила мама, отставив сапу (тыпку).

– Вы имеете получить скрисоаре. – Тетя Марица была молдаванка и не всегда понятно говорила по-русски. – Письмо. Из фронт. – Она протянула матери бумажный треугольник.

Мама ни жива ни мертва подошла к почтальонше и дрожащими руками приняла треугольник.

– Письмо с фронта? – растерянно переспросила она. Оно могло быть хорошее, а могло быть и совсем нехорошее. – От кого же оно?

– Там написан полевой почта и нумеле – Крёстный Василий.

– Значит, от Васи. Слава Богу! Спасибо, тетя Марица!

Письмо было необычайно важным событием в нашей жизни. Но прочитать его мы не могли: мама была неграмотной, я – пока тоже. Что делать? Читать умели только дедушка Николай и тетя Сеня. Баба Маня читала только печатные тексты и то по слогам. Надо было идти к ним.

Муся ушла домой, а мы с мамой огородами, напрямик, для сокращения пути, отправились к своим.

Дедушка, как всегда, был в работе. Он сидел в тени старого ореха на табурете и, постукивая молотком по толстому косарю, щепал дранку из еловых чурбачков. Дедушка Николай считался лучшим кровельщиком-гонтарем не только в нашей магале, но и в ближних селах.

Пока мы жили в оккупации, в его ремесле никто не нуждался, но вот врагов прогнали, для бессарабцев наступило спокойное время, и люди стали думать не только о том, как выжить. Снова стали строить дома. Такие кровельные материалы, как шифер или жесть, были недоступны. Дома крыли либо трощей (тростником), либо дранкой. И дедушка Николай Степанович стал нарасхват.

– Тато, – задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы, проговорила мама, – пришло письмо от Васи. – И она протянула дедушке драгоценный треугольник.

Дедушка отложил в сторону свой инструмент и бережно принял послание:

– Ну-ка, ну-ка, – проговорил он, вскрывая корявым пальцем треугольник. – Да, это от нашего Васи. Ну, пойдем в хату.

Баба Маня возилась на кухне, готовя обед, а в горнице тетя Сеня что-то шила, громко строча на швейной машине «Зингер». С детства после какой-то тяжелой болезни она получила искривление позвоночника и стала горбатой, но была старательна и трудолюбива, выучилась у знакомого мастера-еврея кройке и шитью, и теперь к ней, как к «модистке», тоже стали обращаться разные заказчики.

Узнав, что пришла весточка от Васи, баба Маня и тетя Сеня первым делом заплакали. Но дедушка резко прикрикнул на женщин и властно приказал:

– Сянько, бросай свое шитье. Будешь читать.

Всё наше семейство расселось по лавкам, покрытым разноцветными самоткаными налавниками, и тетя Сеня начала медленно, растягивая каждый слог, читать:

«Здрав-ствуй-те, до-ро-ги-е и род-ные мо-и тато, мама, сестра Ксения, жена Докия и мой сын Павел – хлопчик с золотой головкою! Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам же-ла-ю».

– Ну, слава Богу, – дрожащим от напряжения голосом произнесла бабушка. – Слава Богу, жив-здоров. – И не выдержав, баба Маня снова заплакала, уткнувшись морщинистым лицом в фартук.

Тетя Сеня сделала паузу, высморкалась в платочек и продолжила свое чтение:

«Еще сообщаю, что мы бьем врага на его территории и приближаемся к его логову. Я участвовал в боях, был ранен, но, слава Богу, уже выздоравливаю...»

– Смотри-ка, – прервал чтение дедушка, – был, оказывается, ранен. А куда ранен, не пишет?

– Нет, – ответила тетя Сеня и продолжила:

«У меня хорошие товарищи, мы живем дружно. Каждый знает, что сегодня он выручает товарища, а завтра, может быть, придется выручать его. Иначе нельзя».

– Иначе нельзя, – повторил дедушка. Возможно, он вспомнил свои солдатские годы и своих товарищей по окопу. Он воевал в японскую.

«Как вы живете, родные? Имеете ли что кушать? Не голодаете ли? Как ваше здоровье? Отпишите мне. Помогает ли маме и дедушке с бабушкой мой сын с золотой головкой? Жду ответа. Ваш Василий, младший сержант. 22 апреля 1945 г.».

– Уже сержант, – прокомментировала тетя Сеня. – Молодец, Васька.

Послание с фронта было прочитано. Оно оказалось коротким, но все, что нам надо было знать, в нем было.

– Про какое логово пишет Вася? – спросила бабушка.

– Наверно, это Берлин, – высказал предположение дедушка. – В газетах пишут, что наши войска приближаются к Берлину, который называют логовом врага.

Дедушка слыл человеком знающим: он постоянно читал московскую «Правду» и кишиневскую «Советскую Молдавию».

– Так бы и написал: идем, мол, на Берлин.

– Нельзя, женщина. В армии это называется военная тайна.

– Про товарищей Васька хорошо пишет, – заметила тетя Сеня.

– Да, – сказал дедушка. – Но не забывай, что он младший сержант, то есть – командир.

А командир отвечает за своих товарищей еще и по долгу службы.

– Как он там воюет?

– Раз пишет, что участвовал в боях, значит все в порядке.

...Позже, после демобилизации, Пашин отец никогда не рассказывал о своем участии в боях. Когда Павлик спрашивал его, за что он получил медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина» и другие, он постоянно отвечал одно и то же: «Медали как медали. Всем давали, и мне тоже дали». Никаких подробностей до конца своей жизни он так и не сообщил.

И только недавно, много десятилетий спустя, Михаил, младший сын Павла, обнаружил в интернете на страницах материалов, посвященных подвигу советского народа, официальный наградной лист на своего деда, Крёстного Василия Николаевича, от 30 мая 1945 года, в котором было написано следующее:

«Младший сержант Крёстный – участник боев по преследованию противника от р. Висла до р. Одер. В боях за деревню Куницдорф 17.02.45 участвовал в отражении контратак противника с танками и самоходными орудиями. В этом бою т. Крёстный из ручного пулемета уничтожил 9 немцев, после чего, перейдя в наступление, т. Крёстный со своим помощником атаковал один дом и захватил в плен 6 немецких солдат. Он также участник прорыва глубокоэшелонированной обороны немцев на западном берегу реки Одер 16.04.45. Проявил при этом мужество и отвагу. Первым ворвался в траншею противника, бросил гранату и уничтожил 1 немца. В этом бою т. Крёстный был ранен».

Таким было на самом деле участие отца в боях, документально удостоверенное командиром полка неким полковником Богдановым...

– Хорошее письмо, – сказал в заключение дедушка. – Не всем Господь дает такую радость. Нам дал.

Все молчали. Баба Маня, горестно вздохнув, добавила:

– Многие не вернутся с этой войны. Много горя будет на нашей земле.

– Давайте преклоним колени, – предложила бабушка, – и поблагодарим Господа за добрую весть.

Все наше семейство опустилось на колени, и в полной тишине зазвучали слова, произносимые глуховатым голосом дедушки:

– Отец наш небесный! Ты даешь каждому из нас жизнь, хлеб насущный, здоровье и благополучие. Благодарим Тебя, Боже, за все, что Ты даешь нам, и просим Тебя утешить скорбящих в горе и поддержать слабых. Мы благодарим Тебя за благую весть о нашем сыне, отце и воине Василии. Господи, спаси и сохрани Василия и всех нас. Аминь.

– Аминь, – громко повторили мы: баба Маня, тетя Сеня, моя мама и я.

Мы твердо верили, что наша молитва будет услышана.

И правда, отец Павла, раненый, а потом и контуженный, весной 45 года с боями дошел до Берлина, расписался на стене рейхстага и летом 46-го вернулся домой.

Деревянные человечки (Советская Молдавия, 1945)

Откуда появилась страшилка о деревянных человечках, никто не знал. Но каждому ребенку нашей магалы было известно, что в ближнем лесу обитают необычайно злые существа, похожие на людей, но на самом деле – деревянные. По слухам, после захода солнца они выходят из леса и тех, кто попадает, могут поймать и загрызть до смерти. Спасало только то, что на своих деревянных ногах эти злобные твари передвигались, как на ходулях, и бегать не могли. Отличительной особенностью человечков были каски на их деревянных головах. Находились даже очевидцы, которые уверяли, что держали эти каски в руках. Высказывались предположения, что их потеряли деревянные человечки.

С северной стороны наша окраина, или магала Берестечко, была отделена от остальной части города речкой Реуцел, а вдоль южной холмистой стороны на несколько километров тянулся тот самый лес, который казался нам загадочным и страшноватым. В обычных лесах водятся всякие звери: лисицы, кабаны, волки. В нашем лесу таких зверей не было, но мы, мелкота, ходить в лес побаивались из-за деревянных человечков. По этой причине выбирали для игр холмы, овраги и луга безлесной западной стороны, где были выпасы для коров и коз.

Мы играли в лапту, догонялки, жмурки, чику. Иногда в погожий день собиралась большая ватага. Приходили братья Донцовы, Жорка Баранец, Люба Грумеза, братья Морару, Ванда Ямпольская и много других ребят и девчонок. Больше всего я радовался, когда приходили те, с кем я дружил: Иван Бурдужан, Валька Бачинин и соседка Муся, или Маруся Иванова. Когда собиралось много народу, можно было поиграть в какую-нибудь серьезную игру вроде сыщиков и бандитов.

Перед игрой надо было разделиться на две команды. Дело это непростое. Сначала выбирали вожака сыщиков: большинство было за Ивана Бурдужана, которому было одиннадцать лет, но почитался он в нашем сообществе как честный и справедливый пацан. Вожак бандитов безоговорочно выбирали плутоватую и хитрющую полячку Ванду, высокую девочку лет тринадцати с огненно-рыжими волосами.

Потом начиналась жеребьевка: каждый выбирал себе пару, но с таким расчетом, чтоб напарник после дележки попал в команду противника. Я обычно выбирал Жорку, который мне не очень нравился; мы сговаривались, кто кем будет, и, обнявшись друг с другом – такой порядок, – шли к вожакам.

– Матка-матка, чей допрос? – в один голос спрашивали мы у вожаков.

– Мой допрос, – отвечал Иван, если была его очередь.

– Что выбираешь: советского летчика или румынского жандарма?

Если Иван выбирал советского летчика, то, нетрудно догадаться, в его команду попадал я, а если – жандарма, то Жорка.

Игра могла продолжаться очень долго и так затягивала, что невозможно было остановиться. Бывало и так, что мы прекращали играть только тогда, когда слышали щелканье бича: значит, был уже вечер и Васька Кривой гнал козье стадо домой.

– А ну, шпана, по домам! – кричал Васька и резко взмахивал двухметровой плетью, извлекая оглушительный звук выстрела. – По домам! Не то попадетесь деревянным человечкам. Они вот-вот выйдут на охоту.

Васька, козий пастух, был не местный, а из дальнего села, где жили кацапы – так называли русскоговорящих переселенцев, большая часть которых были старообрядцами. Васька был из них, но, судя по образу жизни, он не придерживался строгих канонов старой веры:

курил махорку (страшный грех!), сильно матерился на русском и румынском языках, не прочь был пригубить стаканчик самогонки. Весной он появлялся в нашей магале, обходил дворы, где еще была какая-то мелкая рогатая живность, сговариваясь с хозяевами.

По утрам с восходом солнца Васька громко хлопал своим бичом, сбивая своенравных животных в стадо, и гнал их на пастбище. Было ему лет девятнадцать, может, двадцать. На круглом лице его начинали прорастать жиденькие усишки и несколько волосин бороды, которые он, как принято у кацапов, не брил. Ходил он, сильно припадая на правую, вывернутую наружу, ступню, за что и прозван был Кривым.

Денег почти ни у кого из владельцев коз не было. Поэтому пастушил Васька за еду и ночлег, и по окончании сезона с ним рассчитывались тоже натурой: кто козым сыром, кто салом, кто одеждой.

Васька был чужаком в нашей магале, у него не было ни друзей, ни приятелей. Взрослые считали его порченным, а мы, малышня, побаивались и сторонились его. Но разными хитростями он все же приманивал к себе, и время от времени мы общались с ним.

Главной приманкой было то, что Васька знал много интересных историй. Да и рассказчик был редкостный. Обычно, когда пацанва рассаживалась вокруг него, он доставал из кармана брезентовой куртки мешочек с махоркой, сворачивал толстую козью ножку и, не торопясь раскурив, начинал повествование. Он обстоятельно, со всякими страшными подробностями рассказывал о ведьмах, чертях и домовых, уверяя, что сам был участником многих приключений и не раз видел всякую нечисть. Нередко выяснялось, что ведьмами были его близкие знакомые и даже родственницы, а с оборотнем, дядькой Матвеем, он даже как-то возил жито на мельницу. Изредка Васька прерывал свой рассказ и, обращаясь к кому-нибудь из слушателей, ласково говорил:

– Борьця, будь другом, заверни вон ту козу к стаду. Долбани её палкой по рогам.

«Друг Борьця», он же Борик Донцов, пулей мчался к непослушной козе и быстро пресекал ее антиколлективные поползновения, используя длинную Васькину палку-герлыгу.

По возвращении Борика ждал щедрый «подарок»: Васька протягивал ему свою козью ножку и разрешал затянуться раза два-три. Семилетний Борик, польщенный таким вниманием к собственной персоне, затягивался махорочным дымом, кашлял с непривычки, на что Васька замечал:

– Молодец, крепкий казак. Атаманом будет.

Через Васькину школу приобщения к тайному обществу курильщиков махорки прошли почти все пацаны. Я не был исключением. Само курение не доставляло никакой радости, наоборот, в первое время было противно, некоторых тошнило. Счастье было в другом: публично тебя удостаивали похвалы и признавали достойным быть равным среди равных, способным на действие, которое позволено только взрослым, – курение. Курение не считалось пороком, оно было неким символом самостоятельности и одновременно принадлежности к обществу сильных мужчин.

В устах Васьки Кривого легенды о деревянных человечках обрастали новыми и новыми подробностями. Он рассказывал, как однажды – дело якобы было совсем недавно, в позапрошлом году, – на его глазах трое деревянных человечков напали на стадо коз, поймали одну, разодрали на части и тут же сожрали. «Звали ее Зойка. Когда ее поймали и начали раздирать, она страшно кричала, – повествовал со слезой и дрожью в голосе Васька. – Как она кричала! Как она, бедная, кричала! Прямо как человек».

Но однажды произошла история, которая напугала меня и моих корешков и сильно подорвала веру в Васькины рассказы.

Мы слушали очередную Васькину байку и не заметили, как пошел дождь. Из пацанов нас было трое: Иван, Валька и я. Дождь усилился, и Васька Кривой на этот раз никого не стал ни о чем просить, сам побежал, хромя, за козами и через некоторое время с руганью и матом загнал их в овраг, где животные, повинаясь какому-то инстинкту, сбились в единую плотную массу.

Дождь все припускал, а на каждом из нас кроме сатиновых трусов не было ничего. Бежать до дома – далеко. Надо было где-то прятаться. По краям оврага рос мелкий орешник, и мы втроем забились в него.

Так прошло около получаса. Небо заволокло черными тучами, которые временами разрывались такими зигзагами молний и такими мощными раскатами грома, что каждый из нас готов был со страху молиться всем силам небесным.

Наконец дождь понемногу стал утихать. Но было темно так, будто наступил поздний вечер. И резко похолодало.

Васька, в отличие от нас, был экипирован неплохо: на нем помимо рубахи и штанов была брезентовая куртка и на голову накинута холщевый мешок, сложенный в виде капюшона. Время от времени он, ковыляя, куда-то удалялся, потом, заглянув к нам в орешник, обеспокоенно говорил:

– Ох, братки мои, чего-то мне не по себе.

Вид у Васьки был необычный, внушающий тревогу.

Что-то нехорошее то ли затевалось, то ли уже происходило...

Дождь продолжал моросить, но казался более холодным, чем раньше. Козье стадо стояло смирно, не двигаясь. Васька с озабоченным лицом опять уходил и приходил и все охал, глядя, как мы жмемся друг к другу, чтобы согреться.

– Что делать будем? – причитал он. – Боюсь я за вас. Как бы эти проклятые деревянные люди не появились.

Артист он был еще тот.

От холода и Васькиных причитаний у меня начался колотун. Нагнал-таки он на нас страху.

Васька опять куда-то уковылял, но не прошло и минуты, как он закричал сумасшедшим голосом:

– На нас напали! На нас напали! Вот они, звери, я их вижу!

Мы с ребятами сидели в кустах, не шевелясь. Нам совсем не было видно, что там наверху происходит.

А Васька бегал где-то поблизости от оврага и кричал:

– Вот они, гады страшные! Они идут на нас! Пацаны, прячьтесь, я вас в обиду не дам. Пацаны, не высовывайтесь!

Мы не то что высовываться – дышать боялись.

– Пацаны! – истерически кричал Васька. – Я начинаю бой. Я забросаю их поганые каски камнями... Ну, твари злобные, получайте!

Наверху слышалась непонятная возня, матерщина и истошный Васькин крик:

– Га-а-а-ды! Они бросают в нас каранидами (осколками кирпича).

И мы на самом деле слышали, как где-то рядом шлепались о листья орешника увесистые камни.

Совершенно невозможно было представить, чтобы дикие звери, а не люди, обладали способностью бросать какие-то предметы. Но кто это мог быть? Кто? Понять было невозможно.

Рядом с нами продолжали падать камни, что-то долетало и до нас. Было больно, но страшно было не от этого, а от неизвестности – что же происходит на самом деле?

– А-а-а, – заорал вдруг наш защитник. – Меня ранили!.. Но я буду сражаться до конца. И он начал выкрикивать румынские ругательства:

– Крушиа мэти! (Крест матери твоей!) – Как будто те, с кем он вступил в противоборство, русского языка не понимали, а румынский почему-то должны были знать. – Ну, держитесь! Я вам покажу!

Не знаю, что там после этого падало на каски противника, но на наши головы посыпался град мелких камней из глиняных осыпей, которых вокруг было множество.

– А-а-а, морды пога-а-а-ные! – воинственно орал Васька. – Вы на моих пацанов! Вы на моих братьев!.. Ну, получайте, га-а-а-ды!

Сражение продолжалось еще некоторое время и, возможно, затянулось бы надолго, однако после того, как мы еще несколько раз были обстреляны залпами камней и от одного из попаданий у меня начала вздываться на голове шишка, друг мой Иван заматерился и тихо сказал:

– Ну все, гата. Больше не могу. Рвем когти.

Мы отползли на дно оврага, крадучись, прошли с полсотни метров, вылезли на мокрую равнину и, шлепая босыми ногами по лужам, изо всех сил припустили к родной магале. Все слабее и слабее мы слышали Васькины крики. Где он был и с кем еще воевал, мы так и не узнали.

Наконец показались ближние хаты нашей окраины.

– Все живые? – переведя дух, спросил Иван.

– Живые, – ответили мы с Валькой.

– Голова болит? – спросил он меня.

– Болит.

– Мне тоже пару раз попало по голове.

Мы всё еще не могли опомниться от пережитого.

Дождь прекратился. Нужно было расходиться по домам, но что-то оставалось еще недоговоренным, невыясненным.

– Брехня все это, – наконец сказал Иван.

– Что – брехня? – спросил Валька.

– Брехня. Нету никаких деревянных человечков.

– А как же все то, что было сегодня?

– Не знаю, – задумчиво проговорил Иван, – но мне кажется, что это все подстроил сам Васька.

Иван был не только самый старший из нас, но и самый рассудительный. Однако после всего, что произошло с нами, мы не знали, что и думать.

Мы уныло поплелись по домам, но история с деревянными человечками на этом не закончилась. Она получила совершенно неожиданное продолжение! Оказывается, не все было брехней.

Когда я, наконец, явился домой, мать при виде меня бессильно опустилась на табуретку:

– Что случилось? Ты весь грязный и побитый!

Я невнятно ответил, что мы играли в поле, потом Васька Кривой рассказывал разные истории, но на нас напали...

– Да что же это за игры такие? Вас били, что ли?

– Бить не били, – начал я объяснять. – Но нас с пацанами забросали камнями.

– Кто это был?

– Васька кричал, что это были деревянные люди в касках.

– В каких еще касках?

Мать еще пыталась что-то выпросить у меня, но я не мог ничего толком сказать. Тогда она налила большой таз воды, отмыла меня с куском хозяйственного мыла, смазала шишку на голове йодом, накормила и уложила спать.

А утром следующего дня, задав корм поросенку и курам, мать велела мне собираться:

– Надо нарвать травы для курочек. Ты мне поможешь.

Она взяла серп и мешок, и мы пошли. Я думал, мы пойдем в поле, но мать выбрала тропинку, которая вела в лес. Я шел с некоторой опаской, но мать была совершенно спокойна, и ее спокойствие передалось мне.

Солнце поднялось высоко и уже припекало, но в тени деревьев было прохладно и хорошо. Лес был не густой, в основном акациевый, но попадались и молодые дубки, клены, одичавшие яблони и вишни, березки, верба, кусты орешника-лещины.

Мы быстро нарвали, мать – серпом, я – руками, полмешка травы, и можно было возвращаться домой. Но мать все дальше углублялась в лес.

– Сейчас, – сказала она, – я что-то тебе покажу.

Мы ушли довольно далеко от магалы. Вскоре лес начал редеть, и мы вышли на огромную поляну. Но – что это?

Перед нами открылась удивительная картина: на большей части поляны стояли длинными рядами кресты. Кресты были деревянные, некрашенные, высотой с метр или чуть больше, они идеально ровными шеренгами тянулись далеко в лес.

– Что это? – спросил я маму.

– Это немецкое кладбище, здесь во время войны хоронили немецких солдат.

Но самое поразительное, что я увидел – это каски. На каждом кресте сверху была надета серая немецкая каска. Их было много. Очень много. Я никогда не видел столько крестов с нахлобученными на них касками.

– Вот они, твои каски, – сказала мама.

Кажется, я начал понимать: каски, деревянные кресты... Вид у них был довольно зловещий.

Так это же – деревянные человечки, наконец догадался я. Точно. Это они, только неживые...

Но кто-то догадался их одушевить и превратить в злобных тварей...

Так была разгадана тайна главной страшилки нашей детворы.

– Теперь ты все понял? – спросила мама. – Кресты с касками, правда, похожи на человечков. Но бояться их не надо. Они были страшными, когда были живыми. Немцами. А деревянные они уже не опасны.

И мы пошли домой.

А Васька Кривой все же проболтался. Однажды в конце лета, находясь в состоянии подпития, он стал рассказывать о своих подвигах и не мог удержаться, чтобы не похвастать, как разыграл пацанов, инсценировав нападение на нас деревянных человечков, и какого страха он нагнал на нас.

Мы понимали, что Васька человек нехороший и даже подлый. Однако время от времени он снова заманивал нас своими сказками и завиральными историями. И мы снова садились кружком вокруг него и слушали его треп.

Фантазер он был еще тот.

Флорика **(Советская Молдавия, 1945)**

Война окончилась, но отец все еще был в армии. Он писал, что служит в комендатуре Берлина.

Почти каждый день с восходом солнца мать уходила на заработки. Чаще всего это была работа в поле: либо у дедушки Николая (ему был выделен клин около двух десятин земли), либо у престарелых или одиноких соседей. Работа была крестьянская, хлеборобская, к которой мать привычна с детства. Рассчитывались с ней кто чем мог: зерном кукурузы, ржи, пшеницы, брынзой, салом, овощами, фруктами, молоком, иногда, поздней осенью, мясом и салом. Особенно много помогал нам дедушка.

Я оставался дома один.

– Ты остаешься за хозяина, – наказывала мать. Это означало, что я не должен был уходить со двора.

Пребывание дома предполагало ничегонеделание и скуку, но я не скучал. У меня была своя компания: поросенок, который жил в просторном ящике на подстилке из соломы, и кот Васька. Я залезал к поросенку в ящик, и он тут же опрокидывался на спину и подставлял мне свое розовое брюшко: «Почеши». Я почесывал его, и он начинал умиротворенно хрюкать и тереть пятачком мое ухо. Через какое-то время кот Васька присоединялся к нашей компании, прыгал в ящик и тут же выгибал свою спину, чтоб погладили. У нас была полная идиллия.

Затем мы с моими животными начинали играть в больницу. Я изображал доктора, а поросенок и кот – пациентов. Поскольку в нынешнем году я болел довольно долго, и лечили меня всевозможными снадобьями в порошках, в доме скопилось много бумажек из-под порошков. Я брал пустые бумажки и наполнял их «лекарством» – крупой кукурузы. Поросенок в нашей больнице «болел» животом, и «доктор» давал ему порошки с крупой кукурузы, а у кота, как у меня еще недавно, была «ангина», и он получал «микстуру» – чайную ложечку молока. «Больным» очень нравились процедуры такого «лечения», и они с удовольствием принимали свои «лекарства».

Мы могли, с обязательными перерывами на тихий час, играть целый день, и когда приходила мама, все были довольны жизнью: и кот Васька, и поросенок, и, конечно, я. Мама с удивлением спрашивала:

– Сынок, как ты тут один, целый день?

И я говорил одно и то же:

– Я был не один, у меня хорошая компания.

Иногда приходили мои друзья: Иван и соседка Муся, и мы играли в семью. Иван, как старший по возрасту, был «отцом», а мы с Мусей – его «детьми». Первым делом мы начинали строить свой «дом». В ход шли две имеющиеся табуретки, единственный стул, пустые мешки, старые платки и другое тряпье. После постройки «дома» мы залезали в него. Было тесно, каждый дышал в затылок или в ухо другому, но нам было хорошо: мы пребывали в своем «доме», который, казалось, защищает нас. Мы могли сидеть в «доме» довольно долго, но Иван вылезал первым и говорил:

– Пора обедать.

Мы начинали суетиться. Муся приносила из дому – она жила с матерью рядом с нами – либо большую плаценту с тыквенной начинкой, либо кусок мамалыги с брынзой. Я доставал то, что мне оставляла мать: мамалыгу и бутылку кипяченого молока. Иван выкладывал на стол

хлеб, абрикосы и сливы из своего сада, потом, как старший, делил все на три равные кучки, и мы садились обедать.

Через некоторое время после обеденного перерыва начиналась игра в школу. Иван перешел во второй класс и умел читать и писать. Мы с Мусей как неграмотные «дети» были зачислены в первый класс, Иван был нашим «учителем». Писать было не на чем, поэтому в ход шло все, что можно было найти: обрывки оберточной бумаги, старые газеты. Карандашей тоже не было, Иван просто выковыривал из печки твердые черные угольки и ими писал. Вероятно, он хорошо помнил, как его в первом классе учили грамоте, потому что вместе с изучением букв, например «А» и «М», он тут же учил нас складывать буквы в слоги и слова, и уже после первых занятий мы умели читать слово «мама».

Иван был хорошим выдумщиком и к обязанностям «учителя» подходил серьезно. После урока грамоты он проводил урок сказок и начинал рассказывать нам, «ученикам», все, что читал сам и слышал в школе. Потом после «перемены» мог начаться урок арифметики, и так продолжалось до тех пор, пока не приходила мама. Наш семейный «дом» быстро разбирался, вещи водворялись на свои постоянные места, и гости расходились по домам.

Мать никогда не выказывала своего недовольства, даже если что-то было не так.

В погожие дни мы с Иваном и Мусей ходили за город, на речку Реуцел, купались, играли.

По воскресеньям мать не работала. «Грех», – говорила она. Иногда мы с ней ходили в церковь, а после утренней службы – на базар, который назывался «толкучкой».

На толкучке былолюдно. Казалось, все население города столпилось на огромном пустыре в центре города, чтобы что-то продать или купить. Здесь было также много крестьян из окрестных сел: они чуть свет кто пешком с торбами, кто на каруцах прибывали на базар по всем шляхам – кишиневскому, флорештскому, рышканскому, глodianскому, фалештскому. Много было и цыган: они торговали самодельными гребешками, красивой конской сбруей, коваными топорами, серпами, молотками и прочим железом, – люди говорили, что все изделия цыганских ремесленников высокого качества. А цыганки то и дело приставали с гаданием или бродили небольшими группами в поисках ротозеев, которых можно обдурить или у которых можно что-нибудь стащить.

Время было послевоенное, и бедность большинства бессарабцев, таких как мы с матерью, граничила с нищетой, поэтому и выбор товаров не отличался особым разнообразием. Мелочь и всякое барахло выставлялись прямо на земле на подстилках из ткани или бумаги. Здесь, среди ржавого довоенного хлама, можно было найти вещи, нужные для хозяйства: от гвоздя, болта, молотка до столярного и слесарного инструмента.

Одежду, в основном поношенную, продавали с рук. Некоторые продавцы со своими тряпками были очень нахрапистыми, не давали проходу, приставали, совали в руки свой товар и требовали назвать свою цену.

Небогатый набор продуктов продавался тоже с рук. Лето было необычайно засушливым, был недород, особенно по зерновым. Товаров было немного, и продавались они по так называемым коммерческим ценам, совершенно недоступным для большинства покупателей. Буханка черного, как деготь, хлеба стоила сто рублей – сумасшедшие деньги. Полукилограммовый брусок сала стоил еще дороже. Несколько скорбного вида теток продавали пшеницу и рожь в мисочках. Овощей и фруктов вообще не было, хотя стоял август – время сбора плодов.

Дальше располагались повозки с бочками: здесь торговали домашним вином урожая прошлых лет. Говор был, в основном, молдавский: лучшие вина делали в молдавских селах.

– Пофтим, ун пагар де вин! (Пожалуйста, стаканчик вина!) – весело предлагал пожилой усатый виноторговец.

Другие торговцы были не менее приветливы. Каждому желающему купить хотя бы литр вина наливалось для пробы полстопочки. Тех, кто проявлял интерес к пробам и доходил до последней бочки в ряду, обычно уже потягивало на подвиги, песнопения и прочие проявления высоких чувств.

По пути увидели небольшую шевелящуюся толпу. Что такое? Оказывается, мужики поймали вора: залез к кому-то в карман. Били толпой. По-крестьянски старательно, но без особой злобы. В последние годы дармоедов и воря расплодилось изрядно. Били для назидания другим.

Когда битие закончили, толпа мгновенно растаяла, а на желтой глинистой земле остался лежать шуплый босоногий парнишка лет восемнадцати в испачканной сорочке и рваных черных галифе. К нему подошли две сердобольные женщины, которые приподняли его. Он смотрел куда-то вдаль безумными глазами, из носа его текла кровь. Ему оказали посильную помощь. Чуть поодаль стоял милиционер в белой гимнастерке с большим револьвером на боку. Он старательно делал вид, что ничего не замечает.

Дальше шел ряд горшечников. В нескольких арбах с высокими бортами, рядами, аккуратно упакованные в солому, стояли глиняные кружки, миски, горшки емкостью от литра до одного, двух и даже трех ведер. Здесь же были выставлены детские глиняные свистульки. Мы остановились у одной арбы, и мать спросила у краснощекой приветливой молодежи, откуда вся эта красота.

– Мы з Окраины, тут нэдалэчко, з пид Хмельницького, – ответствовала украинка.

– Знаю ваши места, бывала там. Хорошие там люди, – говорила мама. И мы поспешали дальше, пожелав молодежи успехов.

Маму интересовал скот. Дальше на пустыре вплоть до самой Цыгании шла торговля поросятами, овцами, козами, коровами, волами. Мать с любопытством приглядывалась к овечкам, гладила их волнистые спины. Те благодарно блеяли, вскидывая свои сопливые мордочки. Мимо коз мы прошли быстро, не обращая внимания на бородатых животных: в нашей родове к козам относились пренебрежительно. Крупное рогатое поголовье было представлено худыми от бескормицы мосластыми коровами и телушками бурой, черной и пестрых мастей. Мать долго стояла возле них, явно любуясь и вздыхая: корова стоила в те времена целое состояние. Нам ли, голытьбе, думать о покупке коровы? И все же, несмотря ни на что, мать тайно мечтала о своей корове, при всем несоответствии наших возможностей такой мечте.

Оказалось, однако, что некоторые мечты имеют свойство сбываться.

В один из воскресных дней наше хождение по толчку затянулось дольше обычного. Мать встретила со знакомыми селянами и не могла удержаться от расспросов. Крестьяне рассказывали о своей жизни, о наделах, которые им достались при дележе земли, о тревоге за урожай этого года. Лица людей были озабочены: как выживать при такой засухе? Многие, став владельцами наделов, начали обзаводиться скотом: овечками, лошадьми, а некоторые – и коровами. А чем кормить скот, если травы высохли, соломы мало, а других кормов нет?

Как понял Павел много лет спустя, это были первые заботы и надежды недолгого послеоккупационного периода, когда бессарабский крестьянин поверил в лозунг «Земля – крестьянам» непосредственно перед этапом коллективизации. К сожалению, позднее, после страшного голода 1946–1947 годов, когда всех начали загонять в колхозы под угрозой раскулачивания, радости сменились разочарованием, страхом и даже злобой.

И только в 1960-х годах, когда колхозы стали на ноги, крестьянин вновь почувствовал себя сытым, обеспеченным и более-менее довольным.

Вернулись мы домой после полудня и обнаружили, что на нашем подворье происходит что-то необычное: на завалинке дома сидели какие-то люди, у дерева шелковицы на привязи паслась чья-то телка, которая успела накакать на наш огород.

– Ну, наконец явились, – произнес, вставая с завалинки, невысокий человек. – Мы заждались.

– Тато, мамо! – тонко вскрикнула моя мать, узнав родной голос, и бросилась в объятия гостей.

Оказалось, это были мамины родители – мой дедушка Харламбий и бабушка Кассандра. В их доме в селе Молдаванка я родился и прожил первые месяцы своей жизни. Потом мы с отцом и матерью уехали из Молдаванки в город и больше с дедушкой Харлампием и бабушкой Кассандрой не виделись. А они продолжали свое житье в селе. Вместе с ними жили их младшие дети – мои тетки и дядя.

Дедушка был еще нестарый, плотного сложения крепыш, с выдубленным солнцем, ветрами и дождями конопатым лицом и седыми волосами. Бабушка Кассандра, напротив, была очень худой и выглядела изможденной. У нее было удлиненное лицо красноватого цвета с выпирающими скулами и большими глазами цвета чернослива. Голова ее была покрыта, несмотря на жару, двумя платками: белым, ситцевым, и поверх него серым, шерстяным. На ногах дедушки и бабушки была необычная обувь – остроносые лапти из сыромятной телячьей кожи – постолы.

– А это кто такой? – обратил на меня внимание дедушка.

– Это ваш внук Павел, – объяснила мама.

Я подошел к дедушке. Он обнял меня и поцеловал в лоб.

– Гарный хлопец. Да еще с самовязом. – Дедушка достал из огромной торбы горбушку ржаного хлеба и протянул мне:

– Бери, это от зайца.

– От какого зайца? – поинтересовался я.

– От дикого, – с серьезным видом начал объяснять дедушка. – Сегодня рано утром встретили мы в поле зайца. Он сидит себе на меже и ест хлеб. Я попросил у него горбушку, а заяц спрашивает: «Зачем тебе?» Я говорю: «Иду в гости к внуку». Заяц подумал, подумал и отдал мне хлеб.

– Диду, а разве зайцы разговаривают по-человечьи?

– Зайцы – нет. А мы с ним не по-человечьи говорили, а по-заячьи.

– Хитрите вы, диду, – сказал я, догадываясь, что дедушка шутит. – Но хлебчик вкусный. Я давно такого не ел.

– Как вы добирались до нас? – спросила мама.

– А мы вышли из Молдаванки до восхода солнца, – объяснил дедушка, – и пошли не шляхом, а проселками, через Старую Обрежу. Так ближе. К полудню были уже в городе.

– Тато, это же больше двадцати километров. И вы совсем не молоденькие. Какая нужда заставила вас с телкой идти в такую даль?

Дедушка с бабушкой хитро, как заговорщики, переглянулись, но сохраняли молчание.

– Вы что, телку привели на продажу? Да? – допытывалась мама.

– Пойдем, поближе посмотрим нашу красавицу, – вместо ответа предложила бабушка Кассандра.

«Красавица» паслась у забора, где нетронутая трава не сильно пожухла и была еще густой. Телка была необычного окраса: оранжево-бурые пятна на фоне чистой белой шерсти

покрывали ее стройный корпус. Маленькое, как и положено телушке, девственно розовое вымечко было покрыто белым пушком. Крепкие мосластые ноги опирались на аккуратные копытца. Голову ее украшали небольшие рожки, а широченный лоб – большое белое пятно – звезда.

Телка была в самом деле красавицей. На людей она не обращала никакого внимания, спокойно пощипывала траву, время от времени отмахиваясь от мух и оводов крепким хвостом с метелочкой на конце.

- Ну, как вам наша телка? – спросила бабушка.
- Очень хорошая, – глубоко вздохнув, ответила мама.
- Как ее зовут? – спросил я.
- Ее зовут Флорика, что по-молдавски значит «цветочек».

Мало кто из городских соседей мог себе позволить держать корову или телку. Во время войны оккупанты, а потом и Красная Армия реквизируют большую часть лошадей и коров. После войны у большинства горожан доходы были совсем мизерные: большая часть предприятий не работала, заработков не было. А вот сельские, кормившиеся с земли, без скотины жить не могли. Не хватало промтоваров, люди ходили в рванье, но скотом начали обзаводиться. Пока не началась засуха.

– Недавно, – объясняла бабушка, – мы водили Флорику к быку. Так что она свое отгуляла, и на будущий год после отела станет настоящей коровой. И даст молочка.

- Да, – откликнулась мама. – Хорошая будет корова.
- Она снова вздохнула.

– Докия! – вступил в разговор дедушка. – Послушай, дочка, что скажу. Мы видим, как вы с Павлушей живете. Бедно вы тут, в городе, живете. Мы в селе тоже не богатеим, но, по крайней мере, пока не голодаем. Недавно скосили жито и пшеницу, – молотить нечего: колос пустой. Но надеемся на кукурузу, может, соберем еще.

Дедушка задумался, помолчал немного, а потом сказал:

– Нам трудно, а вам тут еще труднее. Решили мы с матерью помочь тебе. Мы привели эту телицу на твой двор и отдаем ее в твои руки. Тебе и нашему внуку.

- Как – мне? – изумилась мама. – А как же вы?
- У нас остается Ружана, мать Флорики. Она добрая корова. Нам хватит.
- И тут моя мама не выдержала и, отвернувшись от всех, тихо заплакала.
- Дедушка молча обнял ее и прижал к себе.

Потом все пошли в хату, и Флорику оставили в покое.

Я быстренько сбежал на соседнюю улицу и сказал дедушке Николаю о наших гостях из Молдаванки. Вскоре дедушка Николай, баба Маня и тетя Сеня были у нас.

Мама хлопотала на дворе у печки. Она сварила целый казан молодой картошки и чугунок мамалыги: родни собралось много. Все это было выставлено на стол. Бабушка Кассандра тоже достала краюху хлеба, а баба Маня – кусок брынзы, и, помолясь – без молитвы в нашей родове за стол не сажались, – все большое семейство приступило к вечеру.

Потом пошли неторопливые разговоры о житье-бытье, под которые я уснул ...

На следующее утро я проснулся рано и обнаружил, что кроме мамы в доме никого нет.

- А где дедушка и бабушка из Молдаванки?
- Они еще до свету собрались и ушли, – ответила мама.

– А Флорика?

– Флорика – в сенях.

Я вышел в сени и увидел там нашу – теперь нашу! – красавицу телушку. Она величественно возлежала на полу, жевала свою жвачку и дружелюбно смотрела на меня большими карими глазами. Ни она, ни я еще не знали, что в ближайшие десять лет мы будем тесно связаны друг с другом.

Неожиданный приход к дочери и внуку дедушки Харлампия и бабушки Кассандры оказался последним: в конце 45-го они умерли от тифа.

А Флорика помогла их семье выжить во время страшной голодовки зимой 46–47 годов и после.

Ворона (Советская Молдавия, 1946–1947)

Тяжелейшее положение сложилось зимой 1946–1947 годов в Молдавии... Сильнее всех в Бессарабии от голода пострадало сельское население Кишиневского, Бендерского, Кагульского, Бельцкого и Оргеевского уездов. К 10 декабря 1946 года в этих уездах 30 043 крестьянина являлись дистрофиками... Резко возросла смертность... В Кишиневе ежедневно на улицах подбирали по 8-10 умерших. В январе-феврале 1947 года ежедневно от голода умирало 300–400 человек.

Из Википедии

Лето 46-го прошло в суматохе и напряжении: мы строили большой семейный дом – что-то вроде родовой усадьбы.

После демобилизации и возвращения домой отец, не снимая солдатской формы, с неделю ходил по разным конторам, потом вместе с дедушкой Николаем они разъезжали куда-то на двуколке, и, едва покончив с первоначальными хлопотами, мы начали переселение. В дедушкину телегу, запряженную старым Каштаком, загрузили самые необходимые домашние вещи: самодельные кровати, табуретки, постели, одежду, посуду, и мы с мамой вместе с нашей короной Флорикой двинулись в неведомый путь. Ехали долго, часа три. Миновали нашу магалу, центр города, добрались до моста через железную дорогу и въехали в пригород Пэмынтены. Еще километра через полтора мы прибыли на большой пустырь, который был выделен под нашу с дедушкой общую усадьбу. На новом месте нас встречали баба Василина, сестра бабы Мани, и ее сыновья, молодые крепкие хлопцы Володя и Вася, а также бездомный сирота Саша, наш дальний родственник, которого я считал своим двоюродным братом. С недавних пор Саша жил у дедушки Николая и бабушки Марии, было ему лет тринадцать.

Парни уже неделю жили и работали на новом месте: они выкопали две просторные землянки, укрыли их накатами из досок, и сколотили «домик» в конце огорода – нужник. В одну из землянок мы начали стаскивать вещи.

В ближайшие дни таким же образом были перевезены со всем скарбом баба Маня и тетя Сеня. Из ближнего села Белеуцы прибыло еще человек пять – подкрепление из родственников, – и началась ударная стройка. Надо было сначала сделать лампачи – кирпичи из самана. Для этого заводили большой саманный замес из глины, навоза и соломы, который долго месили все, кто мог. Затем в деревянные формы укладывали саманную массу, утрамбовывали и опрокидывали формы на сухом ровном месте. Подсохшие на солнце лампачи выкладывали в виде пирамид для окончательной просушки.

Потом шло строительство фундаментов, возведение стен из лампача, сооружение из камня печей и дымоходов. Самым трудным оказалось устройство потолков и кровли.

Наконец в сентябре большой, правда, неоштукатуренный дом был готов к заселению. Дедушка с бабушкой и тетей Сеней заселились в своей половине; у них же какое-то время жили и бабушка Василина с сыновьями и Саша. Наша семья заняла свою часть дома.

Пока шла стройка, мы с Сашей обязаны были пасти Флорику, которая давно уж из красивой телушки превратилась во взрослую корову. Лето было необычайно жарким и сухим: ни капли дождя, и на обычных пастбищах трава давно выгорела до черноты. Вся земля покрылась глубокими трещинами. Мы шли с нашей короной далеко по рышканскому шляху на дедушкино поле, где был небольшой, с гектар, перелог: там еще не все высохло. У дедушки был посеян клин подсолнечника, который полностью высох, убирать было нечего – одни сухие палки; был также клин ржи, чуть поднявшейся от земли, с высохшими былинками и пустым колосом;

было еще немного свеклы и картофеля и большой клин кукурузы. Небольшая надежда была на кукурузу, все остальное медленно погибало под убийственными лучами яростного солнца. По вечерам, раза два в неделю, на телеге приезжали ненадолго дедушка с отцом и женщинами. Ведро и кастрюлями они таскали воду из текущей неподалеку сильно обмелевшей речки Рэут и поливали то, что еще было живым. Но спасти удалось немного.

По утрам и вечерам все наше большое семейство собиралось за общим столом. Так было заведено с первых дней. Но уже в середине лета, когда закончились прошлогодние запасы, мы садились за стол только один раз, вечером, перед заходом солнца, и ели мамалыгу с картошкой, запивая кипятком, настоящим на вишневых ветках и листьях, – такой был чай. Еще доилась Флорика, и по утрам все получали по стакану молока. Но с каждым днем было хуже и скуднее.

Осенью большинство трудоспособных пошли работать: отец и Володя с Васей устроились на маслозавод и каждый стал приносить домой в потайных карманах и мешочках куски макуха (подсолнечного жмыха), бабка Василина устроилась в Заготзерно и тоже припрятывала жменью-другую кукурузного или пшеничного зерна. Воровали, конечно, – а что делать? Моя мать с горбуньей тетей Сеней ездили поездом на Украину, работали там у каких-то людей и привозили немного ржи или пшеницы. У нас были свои ручные жорна – два мельничных каменных круга, хорошо подогнанных один к другому, – на которых мы с Сашей мололи зерно.

Осенью было убрано дедушкино поле. Собрали четыре мешка кукурузных початков; будылья и все остальное было предназначено для корма Флорики.

Худо-бедно, но какая-то еда в нашей большой семье пока была. Конечно, черная, как деготь, ложка каши из макуха, которую все чаще приходилось есть, была невкусной, но она спасала от голода. Кроме того, мы с Сашей пристрастились бродить по садам селекционной станции – осенью там охраны не было. Среди опавших листьев мы находили иногда орехи, червивые яблоки, которые тут же поедали. В ход шли даже длинные стручки дикой акации: мы разрывали стручки и выгрызали клейкую кислую массу. В старых вишневых садах на стволах деревьев выступал сок, клей, который тоже считался съедобным.

Поэтому никто из нашего дома не болел ни от цинги, ни от дистрофии. Мы были вечно голодные, но ходячие. Пока.

Однако с наступлением зимы картина стала резко меняться. Все чаще взрослые приносили в дом слухи о том, что в соседних селах Стрымба, Пеления, Пырлица, Реуцел и других люди после сдачи госпоставок остались без хлеба, пухнут от голода и вымирают целыми семьями. В одной деревне был даже случай людоедства.

В городе такого пока не было.

Однажды мы с отцом решили сходить на толчок. Собрались до свету и пошли вниз по улице Артема. Пройдя с полпути, мы увидели какой-то большой сверток, который лежал на брусчатке. Вблизи сверток оказался мертвым человеком. Мы прошли еще немного и увидели на дороге еще два мертвых тела. Лица у мертвецов были черные с проваленными глазами, небритой растительностью и оскаленными ртами.

– Это от голода, – сказал отец. Он-то за войну всякого навидался, а мне эти мертвецы потом снились несколько ночей.

Мы прошли мост и свернули вправо. Здесь у железнодорожных путей валялись трофейная пушка, танкетка желтого цвета и располагался небольшой пятачок, по которому бродили туда-сюда сотни три плохо одетых мужчин и женщин, – толчок. Некоторые продавали в мисочках нечто, похожее на серый речной песок, которое называлось «жомом», было привезено откуда-то с Украины и считалось съедобным. В мисочках же продавалось зерно пшеницы и кукурузы, – цены были сумасшедшие. Человека два из-под полы продавали черный, как сажа, хлеб: за полбуханки просили 150 рублей.

– Это почти моя месячная зарплата вальцовщика, – говорил отец.

Так мы ничего и не купили.

– Давай сходим к вокзалу, – предложил отец. – Там есть ларек, где продают пирожки с мясом.

Вокзал был рядом, и ларек мы нашли, но он оказался закрытым. Тут же подошедшая толстая тетка пояснила, что продавцов ларька, мужа и жену, посадили: кто-то обнаружил в пирожках человеческие ногти.

* * *

В полукилометре от нашего дома, за пустырями, находилось одно из городских кладбищ. Еще весной большинство усопших хоронили по обычаю в сопровождении попов. Услышав «Господи помилуй!», местная пацанва тут же присоединялась к процессии в надежде на то, что на кладбище после обряда прощания сердобольные тетеньки будут раздавать – каждому в протянутую ладошку – по чайной ложке сладкого колева (пшеничной кутьи). Однако с лета таких процессий больше не было. Всё чаще некрашенные гробы везли на простых телегах в сопровождении немногих скорбящих родственников.

С наступлением холодов все изменилось. Обычные похороны стали редкостью. Зато каждый день по два, три раза по улице провозили на телегах тела мертвецов. Обычно в кузове повозки помещалось 3–4 трупа.

Мы с Сашей решили проводить один из таких обозов. Две повозки с мертвецами следовали к краю кладбища. Возницы время от времени понукали тощих понурых лошадей. Трупы пассажиров, тихо лежащие в коробках тележных кузовов, на ухабах подбрасывало, они подскакивали, и желтые пятки стукались одна об другую, издавая странные тупые звуки.

Наконец приехали к месту, где была вырыта неглубокая, но очень широкая яма. Вокруг ямы стояло четверо худых мужиков, одетых в лохмотья; в руках у них были лопаты, а рядом лежали кирки и ломы. Первая повозка подъехала со своим грузом прямо к яме. Двое мужиков подошли к повозке и резко выдернули боковую доску. Двое других и возница ухватились за колеса и под крик «Взяли!» опрокинули телегу с трупами, и те полетели в яму так же компактно, как ехали. Точно так же разгрузили вторую телегу. Трупы в яму ложились всё же неровно, и туда пришлось прыгать одному из мужиков и ногами утаптывать их. Иногда поднималась вверх мертвая рука или нога, и мужик остервенело втаптывал их обратно. Потом лопатами они бросали в ямы известь и еще какой-то вонючий белый порошок и так всё оставляли до следующего приезда повозок.

Эти могилы потом стали называть «братскими», но все они почему-то были безымянными. И было их несколько.

* * *

Все время хотелось есть. С наступлением январских холодов даже ворованный макух стал малодоступным лакомством. Я готов был грызть кору деревьев – лишь бы что-то грызть. Но кора белой акации была очень горькой, кора вишни – очень сухой и вязкой, кора яблони – терпкой, и лишь кору молодых веток тополя можно было жевать: она была сладковатой и после долгого жевания казалась съедобной, но в нашей магале тополей было мало.

Пробовали есть жом, предназначенный для Флорики. С осени – уж не знаю, по какому благу, – отец привез с сахарного завода машину жома (свекловичных выжимок), который хранился и перебраживал в яме. Но жом оказался сильно вонючим и несъедобным.

Мы с Сашей, как и раньше, бродили по заснеженным казенным садам, надеясь найти что-нибудь съестное. И у моего брата, и меня были рогатки, а в карманах полно камешков для стрельбы. Иногда мы соревновались, и, как правило, побеждал Саша: он стрелял лучше.

Живых мишеней было немного: по воробьям стрелять не имело смысла, голуби куда-то пропали, вороны и те попадались редко.

Но нам все-таки повезло. Мы увидели на ветке старой яблони ворону. Она взмахивала крыльями и время от времени каркала, видимо, переговариваясь с подругой, которая сидела на другом дереве. Саша прицелился и выстрелил. К нашему удивлению, ворона камнем полетела на землю. Мы схватили добычу и побежали домой.

Баба Маня, увидев нас с вороной, закричала:

– Зачем вы убили птицу?

– Хотим есть, – сказал я.

– Ворон никто не ест.

– А мы будем.

Пришлось бабушке возиться с вороной: ошпаривать в кипятке, ощипывать, варить. На все ушло часа три.

После варки мясо старой птицы стало розовато-серым, а когда мы с братом попробовали, оказалось приторно-сладким и несъедобным. Но – голод не тетка – есть очень хотелось, и мы сначала съели все, что казалось мясом, а потом сжевали и кости. Ничего не осталось. Все съели.

Был конец января. Еще только – января!

Самые голодные месяцы были впереди. До появления зелени крапивы, щавеля, лебеды, из которых можно было что-то сварить, оставалось больше двух месяцев.

Тато (Советская Молдавия, 1946)

Первые полвека моей жизни, пока был жив отец, мы с ним пытались найти какие-то точки соприкосновения. И он, и я много раз пытались превратить наши отношения из прохладно-безразличных, каковыми они стали со времен моего детства, в теплые. Когда я стал взрослеть, особенно в годы студенчества, отец иногда помогал мне деньгами, потом, когда я перебрался в Сибирь, он почти ежегодно, а иногда и дважды за год приезжал ко мне, навьюченный бараньей тушей, брынзой и молдавским вином. Он тогда работал на винзаводе проводником вагонов и возил вино во многие места Союза. Жил он у нас в гостях обычно три-четыре дня, гулял с внуками, рассказывал им молдавские сказки. По вечерам все мы собирались за столом и по-хорошему общались. Казалось, между нами устанавливаются теплые родственные связи. Однако отец уезжал, и связи прерывались до следующей встречи. Какое-то время меня это беспокоило, тревожило, я видел, что и отцу тоже не по себе. Постепенно пришло понимание, что вряд ли можно что-то изменить.

Но почему? – думал я. Почему однажды, давным-давно, случайно оборванные кровные связи не удастся снова скрепить? Или склеить, склепать, сварить? Почему?

Да, в детстве я был себе на уме. Были случаи, когда я грубил отцу, проявлял непослушание. Было кое-что и похуже. Но так ли уж был я в том виноват?

Долго ломал я над всем этим голову, но так ни к чему и не смог прийти.

К проблемам взаимоотношений людей у меня, как педагога, всегда был особый интерес. Недавно я наткнулся на любопытную книгу психолога Стэнли Милгрэма «Подчинение авторитету». Ученый рассказывал об уникальных экспериментах, в которых участвовали сотни людей разных возрастов, образованных и малограмотных, правоверных христиан и атеистов, белых и цветных в разных населенных пунктах. Цель исследования была простая: изучить, насколько послушными могут быть люди, попав под влияние *авторитетов*. Результаты ошеломили не только самого Милгрэма, но весь научный мир: оказалось, что люди, как правило, безропотно подчиняются авторитетным лицам и выполняют *любые* их указания.

Все дело в том, считает Милгрэм, что мы рождаемся с *потенциалом* к подчинению, который затем способствует формированию послушания. Как выяснилось, послушание является одним из главных инструментов воспитания человека.

Размышляя над открытиями Стэнли Милгрэма, я подумал: а ведь родители и педагоги постоянно берут на себя роли авторитетов и стремятся добиться от детей неких воспитательных результатов именно через послушание. Хорошо ли это?

Если цели *авторитетов* гуманные, то, нет сомнения, хорошо. А если авторитеты – жестокосердные фашисты или матерые садисты?

Попутно возникает еще одна проблема: как быть с непослушными ребятами, с теми, кто не признает авторитет взрослых? Ломать их? Требовать подчинения? Но ведь среди непослушных – много способных и одаренных. Как быть с ними?

В книге Милгрэма упомянуто, что в ходе исследований в Йельском университете было обнаружено, что *не все* испытуемые подчинялись авторитетам. Случались исключения. Изредка попадались и неподчиняющиеся. Непослушные!

Психолог считал, что непослушных не нужно ломать. Не следует на них давить. Просто надо помогать им находить свои пути. Обществу, как известно, нужны не только послушные исполнительные роботы, но и критически и нестандартно мыслящие личности. Послушание –

качество важное и нужное, но так же важен, а в экстремальных ситуациях крайне необходим, критический взгляд на происходящее.

Я стал вспоминать, каким был я. Конечно, хочется видеть себя в хорошем свете. Но бывало всякое. И был я скорее непослушным, чем послушным. С ранних детских лет. Ничему не верил на слово и все докапывался, надоедая взрослым: «Зачем это? Почему так, а не иначе? Что будет, если?..» Временами мама, дедушка Николай и особенно баба Маня изнемогали от моей надоедливой любознательности, но не раздражались, а терпеливо растолковывали, как могли: почему луна то круглая, как блин, то маленькая, как серпик, почему зимой идет снег, а не дождь, почему маленькая кошка Мурка не боится большого кобеля Бобика, а он ее боится, почему Бог не наказал тех жандармов, которые хотели обидеть мою маму, что будет, если спрятаться от Бога в подвал, где бабушка хранит вкусное повидло из айвы, и съесть немножко, совсем чуть-чуть, – Бог узнает, что я согрешил или нет? Я был единственным ребенком в нашей большой семье, и мне не только прощали приставучесть, но и многие шалости и непослушание. Считалось, что я «хлопец с разумом». Сам себе паровоз. Мои родные любили меня, и, наверно, поэтому мне сходило с рук все: и упертость, и своеволие, и несвойственная детям критичность, и свобода действий. Меня постоянно поощряли к самостоятельности. Что бы я ни говорил, что бы ни вытворял, все истолковывалось в мою пользу: «Это проделки Павлуши. Ничего страшного». Запретов не было. Все запретное я определял сам либо путем проб и ошибок, либо задавая окружающим бесчисленные вопросы. В те молочные годы меня никто никогда ни разу не только не бил, но даже не шлепнул, никто ни разу не повысил на меня голос.

Я был общим любимчиком, центром внимания нашей родни и считал, что мир вокруг существует для меня. Весь ближний мир – для меня. Несмотря на войну, разруху, бедность, иногда и нищету, болезни, этот мир был моим, служил мне. Я был беззаботным, ни в чем не ограниченным, безгранично свободным. Абсолютным эгоистом. Никогда в последующие зрелые годы я не чувствовал себя так вольно и легко, как в те первые детские годы.

Но однажды эта вольница неожиданно кончилась. Мне было уже шесть лет, как вдруг произошло нечто ужасное, о чем я сожалел потом всю оставшуюся жизнь: случилось так, что я поднял руку на родного отца – тато.

Однако обо всем по порядку.

Его мы ждали с войны в 45-м, но он еще служил в комендатуре Берлина и вернулся домой в Бессарабию только в конце весны 46-го.

Мы с Мусей сидели в тенечке на единственном в нашем дворе дереве шелковицы, когда к калитке подошел какой-то дядька в красноармейской фуражке и солдатской форме с небольшим заплечным мешком. Дядька смело вошел в наш двор, перед порогом потоптался, пошоркал кирзовыми сапогами о лежащую тряпку и вошел в дом. Нас на дереве, скрытых густой листвой, дядька не видел.

– Кто это? – тихо спросила Муся.

– Не знаю, – ответил я. – Пойду в хату, посмотрю.

Мы спустились с дерева, и я пошел смотреть.

Вошел в сени и, скрипнув дверь в каза маре (горницу), увидел удивительную картину: моя мама стояла, прижавшись к гимнастерке солдата, и обнимала его. Мама была совсем маленькая, а солдат ростом почти до потолка. Он гладил ее по голове, которая находилась на уровне его живота. Услышав скрип, мама подняла голову.

– Сынок! Павлуша! – позвала она. Глаза у нее были заплаканные.

Я стоял, не понимая, что происходит.

– Йиды сюда.

Я подошел.

– Твуй батько вернувся з війни. Твій тато.

Оказывается, это был мой отец. Вот он, оказывается, какой, подумал я. Когда в 41-м его брали в армию, я был еще грудным ребенком, а потом долгие пять лет не видел его.

– Який гарний хлопчик, – были первые слова большого дядьки-солдата, которого мама назвала моим татом. – Хлопчик с золотой головкой.

Так он звал меня в немногих своих письмах с фронта.

Широко улыбаясь, он схватил меня за руки и, высоко подняв, вдруг подбросил. Но, видать, не рассчитал, потому что я треснулся головой об потолок, да так, что посыпалась известка. Солдат тут же отпустил меня с рук.

– Чего ты? – сердито сказал я, почесывая голову. – Чего бросаешься?

Меня до этого никто не подбрасывал. Мне это совсем не понравилось. А солдат продолжал улыбаться: он же радовался встрече с родным домом, родными людьми. Но все же с удивлением сказал:

– Ты дивы, який сердитий.

Потом втроем мы пошли к дедушке с бабушкой, дом которых был на соседней улице. Были слезы радости. Отец роздал трофейные подарки: женщинам шелковые хустки, дедушке Николаю очки в пластмассовой коробочке, мне четыре алюминиевых колесика (из которых потом смастерили игрушечный возок). Себе тато оставил шевиотовый гражданский костюм, сшитый на заказ в Берлине, и две шелковых сорочки. Было еще в солдатском мешке три столовых ложки с немецкими буквами. Вот и все трофеи.

В последующие дни мы виделись с отцом только по вечерам. Вместе с бабушкой он разъезжал на двуколке по разным конторам, оформлял бумаги на участок под строительство нового дома и на получение за городом земельного надела.

Днем мы оставались с матерью, и все было, как раньше: я помогал ей кормить курочек, поросенка, мы ходили по воду к колодцу тети Марицы. Там лежала выдолбленная из камня бадья для поения скота. В жаркие дни к бадье слеталось много ос, которые, подрагивая своими полосатыми брюшками, жужжали и пили воду. Когда я был совсем маленьким, то, не понимая, хватал руками жужжащих красавиц, и они больно жалили. Я громко ревел, мама вытирала мои обильные слезы и успокаивала. Потом я брал свое маленькое ведерко, мама – большие ведра с холоднющей водой, и мы шли домой. Когда приходили мой дружок Иван Бурдужан и Муся, мы шли на речку, купались или играли во дворе до тех пор, пока не звала мама:

– Диты! Ваня, Муся, Павлик! Обидаты! Исты!

Мама нарезала суровой ниткой каждому по шмату горячей мамалыги, мы садились за дощатый стол и ели деревянными ложками борщ или суп из одной миски.

Мама хорошо понимала нас, меня и моих друзей. Нам было хорошо вместе с ней.

Но когда вечером приходил домой усталый тато, мать становилась другой. Огромный отец заполнял собою все пространство нашего тесного жилища и требовал к себе внимания. Мать почему-то начинала суетиться, робко заискивать, что-то от волнения роняла на пол, а однажды, достав из печи горшок с томленными галушками, уронила его на колени отца.

– Ты шо? – закричал он, отряхиваясь. – Крушши мэти!³

– Прости, Васенька! – запричитала мать. – Я не хотела...

– Не хотела?! Срау бы са пэс! – Отец злобно скрипнул зубами и выскочил вон из каба маре.

³ Молдавское ругательство.

Я понимал, что тато чем-то недоволен, а мать боится его и не знает, как угодить. Начиная я понимать и то, что моей свободе приходит конец и в ближайшее время что-то должно измениться.

В его присутствии мать больше ни разу не называла меня привычными ласковыми именами, а только строго: «Павло».

А отец вообще не называл меня по имени и больше не вспоминал, что я «хлопчик с золотой головкой». Изредка он покрикивал: «Мэй, ты!» Но на уничижительные окрики я не откликался. Однажды он увидел, что я провожу время в обществе Муси, и придумал для меня прозвище: «Жених». А поскольку я был сильно конопатый – лоб, нос, щеки и даже руки были обсыпаны веснушками, – он стал насмешливо звать меня: «Рябый. Рябый жених». Так и повелось. Когда я приходил с улицы, отец вместо приветствия спрашивал: «Где тебя носило, рябый?» Я молчал. Не отвечал, и моя упертость злила его еще больше.

По воскресеньям мы всей семьей шли в церковь, потом на нижний базар. К обеду собирались у бабушки с бабушкой. Там всегда было хорошо. Помолясь, усаживались за большой стол, накрытый белой скатертью. Баба Маня с тетей Сеней подавали горячую мамалыгу, и дедушка Николай, как старший, разрезал ее на скибы. Потом на тарелки накладывались ломти овечьей брынзы, квашенина – огурцы, помидоры, бывало и квашеный арбуз или фаршированные перчики, – и из печки доставалась большая кастрюля со свининой, тушеной с картошкой и специями. Каждому еда накладывалась в отдельные миски. На десерт подавали бабку, домашнюю лапшу, запеченную с вялеными сливами, абрикосами, яблоками, и чай. Чай был без сахара.

Во время обеда разговаривали мало, а после чая дедушка начинал расспрашивать отца про военную службу. Спрашивал про командиров, однополчан и про то, в каких местах тому доводилось воевать. Отец рассказывал неохотно, и разговор о войне сам собой угасал. Эта тема больше не поднималась, и внимание переключалось на меня. Дедушка вспоминал, как мы с ним прошлым летом жили, дневали и ночевали, в халабуде на гарбузарии (бахче) и сколько страхов натерпелись из-за разных непрошенных гостей. Баба Маня тоже стала рассказывать, как осенью мы с ней заготавливали грецкие орехи, как я лазил по огромным деревьям и ловко палкой сбивал орехи. Она кричала снизу: «Равлик-Павлик, хватит! Слезай!», а я вроде бы отвечал: «Хоть я и Павлик, но не равлик (улитка). Я еще побью». Мы с бабуней тогда набили целый мешок орехов.

В дедушкином доме меня всегда любили. По-прежнему здесь я был персоной номер один. Отец хмурился, он был, конечно, родным сыном бабушки и бабушки, и его тоже любили, но было заметно, что не так, как меня. Может быть, он ревновал меня? На людях он не показывал своего раздражения и был ровен в разговоре. Но дома, в присутствии матери его настроение становилось неустойчивым. То он преувеличенно любезно говорил ей, какой Павлик «правильный» (правда, «дуже веснянкуватый») и какая она красавица, ну прямо «квитка польова», то вдруг неизвестно от чего мрачнел, становился раздражительным и обзывал ее и меня непотребными словами. Бывало и того хуже: он начинал быстро ходить по дому, громко топая сапогами по земляному полу и заполняя своей фигурой все пространство. Лицо его наливалось кровью, глаза стекленели, делались безумными и из оскаленного рта вырывались хриплые ругательства: «Мать-перемать! Кругом одна сволота! Курвота продажная! Срау бы са пэс!» Кого он ругал, то ли нас, родных, то ли посторонних врагов, понять было трудно. Срывы были редкими и совершенно непредсказуемыми. В такие моменты лучше было ему не перечить, и мы с матерью от греха подальше выбегали во двор и тихо сидели на призьбе, прижавшись друг к другу и дрожа от страха, пока шум в доме не стихал. После этого мать долго плакала и говорила, что вся беда оттого, что тато сильно контузило на войне.

Шло время, но состояние страха не покидало нас с матерью, а между мною и отцом нарастало отчуждение, причины которого я не мог понять. Зная, что он контуженный, я изо всех

сил пытался не раздражать его, но он при виде меня сам заводился, почему-то сразу мрачнел и пускал в ход свои оскорбительные прозвища. Чего он злобствовал, было непонятно.

Однажды ночью, проснувшись, я нечаянно подслушал разговор отца с матерью.

«Докия, почему он такой рябый?» – спрашивал отец. Я понял, что разговор шел обо мне.

«Ты же знаешь, Васылю, в детстве у многих – веснушки, не только у нашего», – тихо отвечала мать.

«Но в нашей родове не было ни одного веснянкуватого».

«Зато среди моих таких дуже багато».

«Обличчем он совсем поганый и не похож ни на тебя, ни на меня...»

«Он похож на мого батьку: такой же низенький ростом и с большой головой. До старости мой тато тоже был конопатый».

«Да, я помню его». – В то время маминого отца, дедушки Харлампия, уже не было в живых.

Может, думал я, он считает, что я не родной его сын. Может, и в самом деле он не родной мне отец. Мы с ним совсем не похожи друг на друга.

Я не знал, что мне делать и как себя вести.

Единственное, что оставалось, – ждать и надеяться, что все образуется. Казалось, со временем все должно само собой устроиться.

Нам бы всем радоваться надо тому, что закончилась наконец страшная война, что мой отец, солдат, дважды раненый и дважды сильно контуженный, один из немногих, кому повезло выжить, вернулся домой. Мы, родные, должны были денно и нощно стоять на коленях и благодарить за него Всевышнего. Отцу было тогда всего 30 лет, и внешне был он – черноволосый, кучерявый, пригожий лицом, статный и могучий. Когда шел по улице, многие засматривались – красавец! У большинства моих приятелей отцов вовсе не было, а мне повезло. Но с самого начала наши с ним отношения не заладились и с каждым днем становились хуже и хуже. Я понимал, что нужно быть послушным, иначе нельзя, но унижений от отца терпеть не мог. Он же, видя мою неподатливость, пытался силой подмять меня. Я стал избегать его, хотя это плохо удавалось, потому что мы жили в одном ветхом домике и по бедности ели из одной миски.

В тот злополучный вечер мы с Иваном сидели на призьбе и мастерили змея. К куску пергаментной бумаги, которую принес мой друг, нитками мы привязали тонкие лучинки из стуга (тростника). Оставалось из тряпок сделать хвост. Моток суровых ниток был припасен заранее.

Солнце висело над самым горизонтом. Было тепло. Откуда-то наносило терпкий запах отцветающей сирени и сладкий аромат гроздьев белой акации. Над густой травой и зеленью в нашем огороде – ядреной картофельной и морковной ботвой, остролистыми перьями лука и чеснока, несмелыми побегами фасоли и бобов – летали, посверкивая медными крылышками и издавая низкий машинный звук, медлительные, как бомбовозы, хрущи. Мелькали стремительные ласточки, которые охотились за жуками. Гнездо ласточек лепилось прямо под стрехой нашего домика, и там уже кто-то попискивал.

– Слушай, – сказал Иван, – ведь хвост можно сделать из веревки.

– Точно.

Я пошел к сараю, нашел среди старого барахла кусок веревки, и мы стали мастерить хвост. Мы так увлеклись, что не заметили, как появился отец. Он молча прошел мимо нас с Иваном. Не замечая. Будто нас и не было. Был он какой-то странный: шел подчеркнута прямолинейно, не поворачивая головы. Может, был выпивши? Не знаю.

Нам с Иваном не удалось доделать змея, потому что вскоре мать позвала:

– Павло, вечеряти!

Когда я вошел в каса маре, то сразу понял: что-то не так. Обстановка была накалена. Родители о чем-то громко спорили, но при моем появлении резко замолкли. Отец сидел на лавке за столом, лицо его было налито свекольной краснотой, а отрешенный диковатый взгляд был устремлен в окно. Он явно был на грани срыва. Мать возилась у печки.

– Сидай з батьком! – велела она мне.

Я сел на свое обычное место на лавке, рядом с отцом.

Мать налила щей в нашу большую семейную миску и поставила на стол, потом на белый рушник вывалила из чугуна мамалыгу и подала ложки, те самые, трофейные. Ложки были больших размеров, но самая большая, настоящий черпак, досталась мне.

Отец зачерпнул из миски, попробовал варево и вдруг лицо его перекошило:

– Ты шо насыпала, стэрва? – заорал он. – Я шо, свиня, чи шо?

– Вася, успокойся! – начала было урезонивать его мать.

Но того уже забрало и понесло.

– Курва! Тварь продажная! Как обращаешься с фронтовиком? – злобно кричал батько.

– Что ты такое говоришь? Остынь.

– Не-е-ет, правду люди говорят...

– Что тебе наговорили твои люди?

– Всякое наговорили... Срау бы са пэс!

Отец замолчал, но вдруг, все более озлобляясь, выкрикнул то, о чем в нашей семье (тем более в моем присутствии) говорить было не принято:

– Пока мы на фронте били фашистов, вы... вы... Вы тут блядовали с румынами...

Обвинение было настолько диким, что мать, всплеснув руками, замерла как соляной столб и, ни жива ни мертва, еле вымолвила одеревеневшим языком:

– Что ты такое говоришь, Вася? Побойся Бога.

– Так и было. Все вы курвы, твари продажные.

– Это неправда! – заплакала мать. – Я чиста перед тобою и перед Богом.

– Твой Бог больше не будет защищать тебя...

– Я ни в чем не виновата.

– Бреешь, я все знаю...

И вдруг он произнес слово, которое в нашем доме считалось страшным ругательством:

– Проститутка!

– Не-е-ет!

– Ты румынская проститутка!

– Не-е-е-е-ет! – страшным голосом закричала моя мать.

– Ку-у-урва-а-а! – Подстегнутый ее отчаянным криком, он неожиданно схватил первое попавшееся, что было под рукой, свою ложку, и резко бросил ее в голову жены. Тяжелая ложка, задев шею жертвы, шмякнулась о стенку. Мать с перепугу села на пол.

Отец был невменяем. Приступ его злобы не утихал. Он распалялся все больше и больше.

Все происходило на моих глазах, и все было ужасно. Смотреть на это молча было нестерпимо.

– Ты за что бьешь мою мамку? – крикнул я, преодолевая страх, от которого в животе у меня похолодело. – Она не виновата!

– Молчать!.. Засранец!.. Байструк рябий!.. – Он повернул ко мне свое разъяренное лицо. Взгляд его был безумный, рот изуродован свирепым оскалом. Лево́й рукой он попытался схватить меня за горло.

И тогда я взял первое, что попало, свою увесистую ложку-черпак с немецкими буквами и ударил его по голове. Он отпрянул, и на его потном лбу мгновенно выросла красная гуля

величиной с грецкий орех. Секунду или две он ошарашенно, видимо не понимая, что произошло, смотрел на меня, потом по-звериному зарычал и поймал меня за уши...

Что было потом, я не помню. Мама рассказывала, что батько рвал мои уши с такой силой, что кровь текла из раковин. Как он меня не убил, как матери удалось меня спасти, я так до конца не узнал.

Удивительное дело. Некоторое время после этого происшествия, несмотря на случавшиеся иногда приступы необъяснимой ярости, они с матерью жили относительно мирно. Он не попрекал ее и не бил, хотя размолвки между ними были частыми. Но когда однажды много лет спустя снова разгорелся скандал и возникла угроза рукоприкладства, я вынужден был вмешаться. Мне было тогда уже лет пятнадцать. Услышав отцовы угрозы и истошные крики матери, я выскочил на кухню, к месту боевых действий. Он снова был невменяем, или хотел казаться таким, и, изрыгая матерные ругательства, крепко держал свою голосащую жену за волосы.

Думать было некогда. Я схватил его за грудки, изо всех сил сжимая пальцы и, глядя снизу вверх в его бешеные глаза, произнес как можно спокойнее, внятно и членораздельно:

– Если ты еще раз тронешь мою мать ... я сделаю из тебя котлету.

Батько возвышался надо мною на целую голову, но он сразу обмяк, видно поняв, что сынок не шутит.

Больше в моем присутствии он мать не бил. Меня тоже до конца своей жизни он пальцем не тронул. Правда, полного согласия и взаимопонимания между нами так и не возникло. Не было и дружбы, хотя мы постоянно общались, помогали друг другу материально и денежно, даже тогда, когда отец развелся с матерью и завел другую семью. Мы мирно сосуществовали.

Последний раз, когда мы виделись с отцом, он сильно болел. После операции на мочевом пузыре он лежал – ходить уже не мог – с привязанной к ноге бутылкой, в которую по трубке отводилась моча. Он сильно ослабел и похудел, от его могучего организма не осталось и половины.

На прощанье тато сказал:

– Навэрно, бильше мы нэ побачимся.

Так и вышло...

Когда сегодня я вспоминаю о событиях давно минувших дней, становится не по себе от того, что так нелепо складывались мои отношения с отцом. С родным татом! Который должен был быть для меня несомненным авторитетом. Но, увы!..

Школа (Советская Молдавия, 1947–1949)

Начальная школа, в которой мне предстояло учиться, располагалась примерно в полутора километрах от нашего дома на углу тихой улицы Осипенко и шумного проспекта Артема, по которому, громяхая на булыжниках, ехали каруцы, редкие автомобили, спешили на службу в центр принаряженные дамочки и мужчины в гимнастерках, торопились в торговые точки озабоченные пожилые евреи, рабочие в промасленных спецовках группами и поодиночке шли на маслозавод, железнодорожную станцию и на большой завод за высокими стенами из котельца с пущенной поверху колючей проволокой. Завод называли «ящиком», и выпускал он что-то военное. Что именно – никто не знал.

Школа располагалась в одноэтажном сером доме.

Напротив находилась керосиновая лавка, хорошо мне знакомая. Несколько раз мать отправляла меня в эту лавку. Я выстаивал в вонючем помещении очередь и протягивал продавцу свою металлическую банку. Пожилой дядька в клеенчатом фартуке, продавец, надсадно дыша – у него, наверное, была астма, – свирепо сверкая стеклянным глазом, спрашивал сипло: «Сколко литра?» «Три», – тихо отвечал я, со страхом глядя на его железный черпак с длинной ручкой.

Дядька зачерпывал этим сосудом из бочки синеватую с перламутровыми разводами жидкость и заливал в мою банку. Я протягивал мятый рубль, получал сдачу и, обливаясь потом, тащился домой ...

К школе мне справили штаны из дедушкиных перелицованных брюк и рубашку из маминной юбки. Это все сшила тетка Сеня. Дедушка Николай выкроил из старой коровьей шкуры два куска, дратвой схватил их в нужных местах, и получились маленькие лапти с заостренными носами – постолы. Мама из мешковины сшила торбу, в которую положила четыре тетрадки и карандаш, купленные за большие деньги на барахолке. В таком снаряжении первого сентября отец повел меня в первый класс.

Был теплый, немного пасмурный день. Мы пришли рано, но оказалось, во дворе школы уже полно народу. Притихшие дети, держась за руки родителей, стояли в очередях на запись в две колонны. Отец уточнил: «Дэ тут пэрвачи?» И мы встали в очередь к строгой пожилой даме, которая сидела за некрашеным фанерным столом. Другой ряд двигался к фанерному столу, за которым сидел седой старик. Он записывал в третьи и четвертые классы. Когда подошла наша очередь, отец, стараясь выговаривать слова почище, по-русски, обратился к даме:

– Жэнчина! Прощу вас, запышит мого хлопця ув перший клас.

Суровая дама поправила отца: «Не хлопця, а мальчика» и сказала, что ее зовут Анна Яковлевна и именно она является учительницей первого и второго классов. Макая ручку в фарфоровую чернильницу, учительница спросила мои имя и фамилию, не торопясь записала все что надо и сказала:

– Павел Крёстный, ты пока постой здесь, рядом со мной. Скоро вместе с другими ребятами я поведу тебя в класс. А вы, папаша, можете идти домой.

Отец попрощался и быстро ушел. Больше в течение последующих десяти лет моей учебы ни он, ни кто другой из моих родных в школе никогда не бывал.

Сразу за входной дверью школы слева располагалась маленькая конура, в которой сидела толстая тетка – она была и дежурной, и уборщицей, и сторожихой. Напротив – небольшой кабинет заведующего, дальше – просторный вестибюль, из которого можно было попасть в

две классные комнаты. В одну из них привела толпу ребятишек наша учительница Анна Яковлевна.

– Все, кто записался в первый класс, садятся на первый и второй ряды парт, – объявила она. – Второй класс садится на третий и четвертый ряды.

Парты были длинные, выкрашенные в блестящий черный цвет, за каждую уселось по четверо-пятеро учеников. Первоклассников набралось десятка два, второклассников – немного меньше. В следующие дни подошли еще человек десять, так что сводный класс получился большой. Таких как я, семи- и восьмилетних, было немного. Мы быстро перезнакомились, поскольку были из одной магалы: Мындреску Ваня, Цанга Люба, Фишман Харик, Фихман Юлик. Позднее я подружился с Ваней Салом, который был на четыре года старше меня. Большинство ребят были переростки, особенно пришедшие с улиц Пограничной и Нижней, возле речки, и из Цыгании. Некоторым было по 13–14 лет. Была одна очень красивая девочка, цыганка Галя Гусакова, судя по зрелым формам, лет, наверное, пятнадцати. (Позднее, едва научившись читать и писать, она вышла замуж, так и не кончив первого класса.)

Учительница спросила: кто умеет читать? Подняли руки Фишман и я.

Кто умеет считать до ста? Подняли руки те же, немного колеблясь, – еще и Фихман.

– Хорошо, – похвалила Анна Яковлевна. – Остальных я научу.

Она показала всем букварь, но выяснилось, что такой книжки ни у кого нет, да и других учебников тоже. Учительница удивилась, огорчилась, но делать было нечего:

– Что ж, будем учиться без букваря.

И мы начали учиться писать палочки в тетрадах в косую линейку...

Первый день в школе прошел удачно. Все было ново, интересно, кроме того, учительница меня похвалила, и, счастливый, с новыми знакомыми я шел домой. Однако новая – ученическая – жизнь таила неожиданности, в том числе и неприятные.

Первая беда со мной случилась ровно через неделю. Каждый день было по три-четыре урока, между ними короткие перемены, во время которых все выскакивали во двор. Кто-то от избытка чувств носился, сломя голову, другие бежали в уборную в дальнем конце двора. Уборная, как положено, была деревянная. В мальчишечьем отделении было четыре очка, и там всегда толпились пацаны постарше. Многие курили и, не спеша, справляли нужду. Мы, малышня, жались по углам, ждали, но редко кому удавалось пробиться к очку. Кончалась перемена, звенел звонок, и нужно было бежать на урок. Отпрашиваться в уборную с урока мы еще не научились. Так и терпели. Однако к концу дня иногда становилось невмоготу.

Хорошо было тем, кто жил недалеко от школы. Я жил далеко... Несколько раз, напрягая все силы, с трудом добегал до дома. Но однажды не смог.

Думал, успею. Терпел, сжав зубы. Не дышал... Бежать не мог, внизу живота что-то давило, мешало... Слезы текли из глаз, я держался изо всех сил... Надо было ускорить шаги, но идти больше не мог... Остановился. Широко открыл рот, что набрать воздуха и... Вдруг большой скользкий комок оторвался от живота и сквозь штанину полетел вниз по ноге...

Хорошо, что на улице никого не было и никто ничего не видел.

Дома тайком от матери я постирал штанишки. Было невыносимо стыдно...

Другая беда настигла меня позднее и привела к тому, что я был посрамлен и пригвожден к позорному столбу на длительное время. В школе мне нравилось почти всё, но с какого-то времени я почувствовал, что учительница поглядывает на меня с неприязнью. Особенно когда я ошибался в произношении слов и говорил не чисто по-русски, как положено в русскоязычной школе, а на своем украинско-русско-молдавском диалекте: «шо» (вместо «что»), «говорытэ» (вместо «говорите»), «царане» (вместо «крестьяне»), «жиды» (вместо «евреи»), «матуша» (вместо «тетя»), «сараку» (вместо «бедный»), «мэй» (форма обращения) и прочее. Но самое худое было связано с арифметикой.

Когда были уроки устного счета, я быстро поднимал руку и отвечал. Учительница спрашивала:

– Сколько будет три да четыре?

Я тут же отвечал:

– Семь.

– А четыре да пять?

– Девять.

– Правильно. А что же ты, Крёстный, у себя в тетрадке вытворяешь?

Я не понимал, о чем она говорит и, опустив голову, молчал.

– Ты просто лентяй и не хочешь учиться.

Я по-прежнему не понимал ее.

А дело было вот в чем. Поскольку учебников по арифметике не было, учительница писала домашние задания на доске: « $1+1=\dots$ $2+1=\dots$ $3+1=\dots$ » и так далее. Мы всё старательно переписывали. Дома примеры нужно было решать. Вероятно, учительница объясняла, что ответы нужно *дописать*, но я был невнимателен и дома всё просчитывал *устно* и ничего не дописывал. На следующий день полагалось тетрадь сдавать на проверку, а новые примеры записывать в других тетрадках. Я, как положено, тетрадку сдавал, а через день, получив ее обратно, с удивлением обнаруживал под своими записями большую красную единицу. Так продолжалось несколько раз, и в моих тетрадках было уже по несколько «колов». Все это попало на глаза отцу, который стал страшно ругаться, обозвал меня «дурнем», но что надо делать, не сказал. В классе я стал пользоваться плохой репутацией: Анна Яковлевна вдруг разглядела во мне злого симулянта и во время письменной работы она подходила ко мне, больно тянула костлявыми пальцами за правое ухо и тыкала головой в тетрадку, злобно приговаривая:

– Решай примеры... решай примеры, лентяй... Лентяй Иваныч!

Я глотал слезы и решал. *Устно!* По-прежнему не понимая, что ответы надо – *писать!*

Строгой Анне Яковлевне, вероятно, не приходило в голову толково все объяснить. Она продолжала ставить мне единицы, тянуть за ухо и звать Лентяем Иванычем.

Неожиданно помогла тетка Сеня. Увидев мои злополучные тетради с «колами», она быстро сообразила, что надо делать, и показала, как решать примеры.

Я перестроился, и вместо единиц стал получать нормальные оценки. Но обида на Анну Яковлевну не проходила.

Иногда наша учительница заболела и вместо нее к нам в класс приходил Яков Михайлович, учитель третьего и четвертого класса. Он был очень старый, но веселый, жизнерадостный, громогласный и большой. Для нас, первачей, его приход был праздником.

Он любил играть и шутить.

– Что легче, – спрашивал, – килограмм ваты или килограмм железных перьев номер восемьдесят шесть?

– Вата! – отвечали мы дружно.

– Не-е-ет! – свирепо выкатывая свои огромные глаза, громко отвечал старый учитель.

– Тогда... наверно, перья, – неуверенно говорил кто-то.

– Н-н-е-е-ет, дети мои! – кричал учитель так оглушительно, словно мы были за километр от него.

И тогда руку поднимал очень тихий, очень рыжий и конопатый, с большими, как вареники, ушами и тонкой шеей Фишман Харик и чуть слышно говорил:

– Они одинаковые.

– Что одинаково?

– Килограмм ваты и килограмм перьев.

– В-о-о-о-т! – заключал Яков Михайлович и хохотал так, что стекла в окнах слегка дребезжали. Вместе с ним долго смеялись все мы. Было весело и интересно.

Еще говорил он нам о правилах культурных людей: как надо сидеть за столом, как, входя в дом, пропускать других, как здороваться, особенно со старшими.

– Во время приветствия надо на секунду остановиться, немного приподнять головной убор и, слегка поклонившись, поздороваться.

Многие из моих сверстников возлюбили этот ритуал и по несколько раз в день, встречаясь со старым учителем, снимали кепки, картинно раскланивались и здоровались. Яков Михайлович с веселой улыбкой тоже приподнимал свою шляпу, кланялся и громко выкрикивал так, что слышно было на другом конце магалы:

– Здрав-ствуй-те!

С Анной Яковлевной, к счастью, мы скоро расстались: она куда-то уезжала. Но на прощанье она все же подсыпала немного горечи в мою маленькую жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.